

М. М. ГРОМЫКО
СИБИРСКИЕ
ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Серия «Страницы истории нашей Родины»

М. М. ГРОМЫКО

СИБИРСКИЕ
ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.
1850 — 1854 гг.

Ответственный редактор
д-р ист. наук Н. Н. Покровский



НОВОСИБИРСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Сибирское отделение
1985

Громыко М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. 1850—1854 гг.— Новосибирск: Наука, 1985.

В книге на основе богатых архивных материалов рассказывается о людях сибирского окружения Ф. М. Достоевского, о том, как передовые общественные силы сибирских городов вопреки надзору властей поддерживали в ссылке духовно и материально будущего великого писателя.

Среди лиц, принимавших участие в его судьбе, и отбывавшие последние сроки своего изгнания декабристы, и люди, близкие к их кругу.

Раскрывается роль сибирского периода в накоплении писателем жизненного и идейного творческого материала.

Работа предназначена специалистам и широкому кругу читателей.

Рецензенты *Н. Н. Курдина, В. Г. Одиноков,
В. А. Федоров*

Сибирский период до сих пор остается наименее изученной частью биографии Ф. М. Достоевского. А между тем это девять с половиной лет жизни великого писателя в зрелом возрасте. Можно назвать две основные причины слабой исследованности периода: представление о нем как малозначимом для развития творчества Достоевского и трудная доступность сведений об этом этапе.

Мнение о жизни Федора Михайловича в Омске и Семипалатинске как не заслуживающей большого внимания опровергнуто, в сущности, уже самим Достоевским, неоднократно писавшим о формировании важных литературных замыслов в это время. Опираясь, в частности, на письма Федора Михайловича, советский литературовед, академик П. Н. Сакулин писал во вступительной статье к их изданию: «Не будет преувеличением сказать, что все зрелое творчество Достоевского корнями своими уходит в годы каторги и ссылки, когда перед художником-мыслителем во всей сложности встали вопросы русской жизни и трагически обнажились бездны человеческого бытия» [1, 2, 545].

Данные об этом периоде трудно восстанавливать из-за конспиративной осторожности, к которой вынуждены были прибегать писатель и многие люди, его окружавшие. Достоевский был привезен в Сибирь в январе 1850 г. в качестве политического преступника. Как известно, он оказался в числе тех петрашевцев (21 человек), которых приговорили к расстрелу, замененному в день казни разными сроками каторги и ссылки. Четыре года писатель провел в каторжной тюрьме Омска, затем пять с половиной лет — в Семипалатинске (сначала солдатом, потом унтер-офицером), без права выезда. Под

тщательным надзором властей он находился даже после возвращения из ссылки.

Человек чрезвычайно деликатный, Федор Михайлович очень боялся скомпрометировать людей, помогавших ему. Не только в письмах, шедших по официальным каналам, но даже в передававшихся через частных лиц, — одни факты замалчивались, другие упоминались в нарочито неопределенной или общей форме. В связях с семьями декабристов степень осторожности удваивалась. При такой скудности прямых сведений о писателе большое значение приобретает изучение документальных материалов о людях его окружения как косвенных источников информации.

Приведем два характерных в этом отношении факта. В первом письме к брату Михаилу, написанном после выхода из каторжного острога и отправленном «в глубочайшем секрете», т. е. мимо цензуры, Достоевский ни словом не обмолвился о том, что живет в это время в доме дочери декабриста И. А. Анненкова. В другом письме, призывая брата поближе познакомиться с Е. И. Якушкиным (сыном декабриста), Федор Михайлович умалчивает о своей встрече с ним во время каторги.

Писатель оставил потомкам блестящий анализ своего окружения в каторжной тюрьме — «Записки из Мертвого дома». Автобиографический характер их и высокая степень достоверности как источника позволили исследователям разносторонне учитывать эти впечатления при изучении жизни и творчества Достоевского. Но многообразные и сложные сибирские контакты с лицами, остававшимися за острожными стенами, почти не попадали в поле зрения исследователей. Именно таким связям и посвящена данная работа.

Книга охватывает только омский этап сибирской жизни писателя. Но человеческие отношения — даже дальние знакомства, а тем паче более глубокие связи — нельзя уложить в четкие рамки четырехлетнего периода. Нити прямых и опосредованных контактов уходят в прошлую и последующую жизнь Достоевского; семена обретенных в Сибири впечатлений, мыслей, образов дают щедрые всходы в позднем творчестве. Особенно часто нам придется обращаться к событиям жизни в Семипалатинске, которые проливают свет на обстоятельства предшествующего периода.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ СВЯЗИ

17 мая 1858 г. Ф. М. Достоевский писал из Семипалатинска в Омск И. В. Ждан-Пушкину: «Милостивый государь Иван Викентьевич. Благодарю Вас за письмо Ваше и за благоприятный ответ на мою просьбу. Все, что Вы пишете об общественном воспитании и **некоторых** его невыгодах, в **иных** случаях, такая истина, что я удивляюсь: как только теперь стали замечать ее! Честь и слава общественному воспитанию, — это бесспорно! Оно сделало свое дело и сделало отлично. Между прочим, был один чрезвычайно высокий подвиг, который оно совершило. Оно началось, когда наше общество было еще в брожении и только что начинало новый путь свой. Не было ни **общих** правил, ни **общей** правды, ни **общего** ясного сознания, ни **общего** чувства чести <...> Но теперь уже не то с обществом. Мы далеко уже ушли, пообтерлись все углы, и мы отчасти сошлись в понятиях. К тому и идет. След[ственно] общественное воспитание (которое там было с руки иным родителям, давая поскорее возможность отвязаться от своих птенцов, особенно за казенный счет) начинало уже быть вредным для юношества, тем более, что исключительность его доведена была в последнее время до высочайшей степени, и прежней рутинной и удобствами самих родителей». И далее: «Потому это я Вам все пишу, теперь, что Вы Вашим письмом разбудили во мне все тяжелые воспоминания моего собственного воспитания. Но я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства!..» [1, 4, 267].

Кто был человек, которому Достоевский поведал свои мысли о преимуществах и пороках общественного воспитания и личные воспоминания о жизни в инженерном корпусе? Характер письма выводит в наших глазах отношения Достоевского со Ждан-Пушкиным за рамки непосредственного предмета переписки — дел, связанных с устройством, пребыванием в Сибирском кадетском корпусе и уходом из него пасынка Федора Михайловича — Паши Исаева.

Иван Викентьевич Ждан-Пушкин служил инспектором в кадетском корпусе*. Восторженную оценку этого заведения и скромного омского инспектора находим в письме писателя к Варваре Дмитриевне Констант (сестре жены Достоевского), написанном годом ранее предыдущего письма: «Сибирский Корпус в 1-х) превосходнейшее заведение, права его большие, начальство редкое, не-оценимое. Директор известный ученый Генерал Павловский; его имя произносится с благоговением в Омске. Инспектором Ждан-Пушкин, которого я знаю лично, человек образованнейший, с благороднейшими понятиями о воспитании. (Он очень хорошо был знаком с покойным Александром Ивановичем (Исаевым.— М. Г.), который, я помню, говорил мне о нем с увлечением)». И еще в этом же письме: «О Паше писал я Ждан-Пушкину (от которого получил теплый, добродушный ответ и который встретил его как родного и поместил у себя)...» [1, 1, 224]. Еще определеннее о корпусе в этот же день Достоевский писал отцу жены — Дмитрию Степановичу Констант: «Сибирский Кадетский Корпус — одно из перво-классных заведений в России» [1, 1, 223].

Продиктованы ли эти оценки лишь желанием успокоить родственников пасынка, или Достоевский имел для таких суждений достаточно оснований? Все говорит в пользу последнего. Прежде всего такая же оценка выражена и в письме к брату Михаилу в ноябре 1857 г.: «Моего пасынка Пашечку приняли в Омский Кадетский

* В 1813 г. в Омске было создано Войсковое казачье училище, выпускавшее урядников; с 1822 г. в нем готовят офицеров Сибирского казачьего войска. В 1826 г. оно получило название Училища Сибирского линейного казачьего войска для детей казаков, а в 1846 г. преобразовано в Сибирский кадетский корпус. В корпус принимали теперь и сыновей офицеров Отдельного сибирского корпуса, и дворян, служащих или служивших чиповниками в Сибири; выпускали офицеров [2, дела 1835—1860 гг.].

корпус, по просьбе матери, поданной еще полтора года назад. Мы его отравили. Корпус — прекрасный, инспектор высокой души человек. Я знаю его лично» [1, 2, 588].

Другие, менее известные, а также совсем непубликовавшиеся документы дают возможность установить, какую значительную роль сыграл Иван Викентьевич в сибирской жизни Достоевского, в тяжелейший период ее.

Истоки их отношений уводят к первым дням ссылки петрашевцев. Когда Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров после шести дней пребывания в тобольской тюрьме выехали из города под стражей — их везли в Омский каторжный острог, две женщины поджидали экипажи на омской дороге: Наталья Дмитриевна Фонвизина (жена декабриста) и близкий друг семьи Фонвизинных — Мария Дмитриевна Францева.

Позднее М. Д. Францева вспоминала: «Узнав о дне их отправления, мы с Натальей Дмитриевной выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный. Отправившись в своих саних пораньше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтоб не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощания; тем более, что я должна была еще тайно дать жандарму письмо для передачи в Омске хорошему своему знакомому, подполковнику Ждан-Пушкину, в котором просила его принять участие в Достоевском и Дурове.

Долго нам пришлось прождать запоздалых путников; не помню, что задержало их отpravку, и 30-градусный мороз порядочно начинал нас пробирать в открытом поле. Прислушиваясь беспрестанно к малейшему шороху и звуку, мы ходили взад и вперед, согревая ноги и мучаясь неизвестностью, чему приписать их замедление. Наконец, мы услышали отдаленные звуки колокольчиков. Вскоре из-за опушки леса показалась тройка с жандармом и седоком, за ней другая; мы вышли на дорогу и, когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров».

«Выскочить» арестанты могли лишь с трудом — оба была в кандалах; одеты по-сибирски: в полушубках и малахаях. «Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы

кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди. Я отдала приготовленное письмо к Пушкину жандарму, которое он аккуратно и доставил ему в Омске.

Они снова уселись в свои кошевы, ямщик ударил по лошадям, и тройки помчали их в непроглядную даль горькой их участи. Когда замер последний звук колокольчиков, мы, отыскав наши сани, возвратились чуть не окоченевшие от холода домой» [3, 6, 628—629; 4, 94—95].

Заметим, что сам способ переезда Достоевского и Дурова из Tobольска в Омск неожиданно стал предметом волнений губернских властей. Об этом Ждан-Пушкин написал Францевой: «Здесь пресмешная комедия была. Князь, получивший в первый раз предписание о присылке в Сибирь этих несчастных, распорядился тотчас же о развозе их по назначенным местам тоже на почтовых, как они прибыли из Петербурга; на другой день приходит к князю начальник штаба и уверяет, что их следовало отправить по этапам пешком, а не по почте, и что за это князь может получить неприятность. Князь испугался, послал было тотчас же адъютанта своего на курьерских в Tobольск, чтоб остановить свое первое распоряжение, но было уже поздно, адъютант встретил на дороге едущих в Омск Дурова и Достоевского и узнал, что прочие тоже отправлены и что их никак не догоняшь. На князя напала страшная трусость, пошли вздохи и жалобы; он только и твердил окружающим его, что вот долголетняя служба его должна пропасть, что он ожидает каждую минуту, что прискачет из Петербурга фельдъегерь, посадит его в сани и увезет за тридевять земель; ничем заниматься не мог, только это в голове у него и было <...> На днях получил, наконец, князь успокоительный ответ из Петербурга, где пишут, что все его распоряжения на счет отправления и назначения этих несчастных одобряются совершенно, и вот он вздохнул свободнее» [3, 6, 630].

В «пресмешной комедии» достаточно ясно вырисовывается характер генерал-губернатора Западной Сибири князя П. Д. Горчакова, от которого многое зависело в успешности хлопот доброжелателей о молодых петрашевцах.

Письмо Францевой к Ждан-Пушкину, содержащее просьбу об опеке над ссыльными, — лишь одно из звеньев в той скрытой от властей прочной системе контактов, сложившейся у декабристов и их сибирского окружения, к которой предшественники сознательно и последовательно подключили новых изгнанников. Организация связей между политическими ссыльными и взаимной поддержки занимала существеннейшее место в сибирский период жизни декабристов. Для многих из них это было не только естественным порывом гуманности, но и осознанной и целенаправленной деятельностью, органично входившей в общую программу поведения в новых условиях.

Материальная и моральная помощь, обмен информацией самого разнообразного характера — семейной, общественной, политической, хлопоты об облегчении участи, формирование общественного мнения «артели» (термин самих декабристов) о поступках отдельных ее членов — все это осуществлялось в течение многих лет (к моменту проезда петрашевцев декабристская ссылка насчитывала 24 года!), несмотря на огромные сибирские расстояния, вопреки контролю властей и цензуре переписки.

Эта система связей стала своеобразной формой воздействия декабристов и их семей на общественную жизнь края. Очень разные по занятиям, умонастроениям, социальной принадлежности и уровню образования люди потянулись к декабристам, привлеченные их ярко выраженной гражданской ответственностью, широтой взглядов, моральной чистотой, образованностью, ореолом страдания за общественное благо. Друзья и знакомые декабристов охотно выполняли их поручения, помогая обойти почтовый контроль и полицейский надзор, активно содействуя опеке над теми из каторжан, которые больше в ней нуждались. В свою очередь, сибиряки, имевшие регулярные непосредственные контакты с декабристами, оказали влияние на общественную жизнь. Это влияние сказывалось в течение десятилетий и выходило нередко за пределы края.

Мария Францева с раннего детства оказалась в кругу ссыльных декабристов. Отец ее, Дмитрий Иванович Францев, перевелся из Симбирска в Красноярск, затем в Ачинск и, наконец, в середине 30-х годов поселился с семьей в Енисейске, где служил исправником. Там в это время жили на поселении (после шести лет каторги)

Михаил Александрович и Наталия Дмитриевна Фонви-
зины. Маленькая Маша Францева навсегда запомнила их
уютный каменный дом с садом, молодую красавицу-хо-
зяйку — большую любительницу цветов. Первые детские
впечатления прочно соединились с образами этих двух
людей, неизменно приветливых к семье своего доброго
знакомого — Д. И. Францева.

Со стороны Дмитрия Ивановича выбор знакомства не
был случайным. Теплые отношения поддерживал он и
с декабристом Александром Борисовичем Аврамовым.
Они сошлись во время длительной служебной поездки
Францева из Енисейска в Туруханск, где Аврамов, по
словам М. Д. Францевой, «как человек хороший, добрый
и образованный был для отца (...) настоящим, как он
выражался, сокровищем и опорой» [3, 5, 385]. Позднее
Дмитрий Иванович органично вошел в среду ссыльных
в Красноярске и особенно в Тобольске.

Длительная служба Францева в Сибири — тяжелый
путь борьбы со злоупотреблениями. Исполнительный и
энергичный чиновник, он мог поставить под удар благо-
получие семьи и свое служебное положение, если этого
требовали его честность и понятия о справедливости.
Именно таким случаем было столкновение в 50-е годы с
генерал-губернатором Западной Сибири П. Д. Горчако-
вым: на рассмотрение Францева — в это время проку-
рора в Тобольске — поступило дело о наследстве, в ко-
тором Горчаков был лично заинтересован. «Но сколько
ни дорожил отец лестным его вниманием, он не мог по-
ступить вопреки своей совести, почему и протестовал
против неправого решения дела в пользу князя Горча-
кова. Отец очень хорошо сознавал, что своим протестом
он навивал себе непримиримого врага в лице князя, как
это и оказалось потом, и что он жертвует благосостоя-
нием своей многочисленной семьи, которой оставалось
единственное наследство после его смерти — заслужен-
ная им беспорочной сорокалетней службой пенсия.
Князь же по своей силе и безграничной власти в Сибири
легко мог сокрушить и уничтожить все его прежние за-
слуги. Как ни трудно было предстоявшее ему решение,
но, предавшись Богу, он поступил, как повелевал ему за-
кон совести. Князь Горчаков, получив протест отца, рас-
свирипел окончательно. Он никак не предполагал встре-
тить оппозицию от человека, в преданности которого
был уверен. Зная же хорошо наши дружеские отношения

с Фонвизинными, он в своем гневе отнес все это их влиянию и поклялся, что уничтожит дотла противодействующее ему гнездо» [3, 6, 627—628].

Для Марии Дмитриевны оценка позиции отца в конфликте с всемогущим вельможей однозначна. В молодости она становится помощницей декабристов в организации женских школ. 1 февраля 1851 г. И. Д. Якушкин писал своему соратнику по организации училищ С. Я. Знаменскому о том, что «хлопотать по рукодельному классу здесь, в Тобольске», он «поручил Оленьке (дочери И. А. Анненкова.— М. Г.), Маше Францевой и Смольковой» [5, 358].

В мае 1853 г., приехав из Сибири в свое имение Марьино, М. А. Фонвизин писал Марии Францевой: «Благодарю вас, мой любезный друг, за вашу любовь к нам, которая будет всегда одним из самых приятных и драгоценных воспоминаний моих жизни сибирской» [6, 57, 3; 7, 390]. Когда было получено разрешение на выезд из Сибири и Наталией Дмитриевной Фонвизиной, она просила отца Францевой отпустить Машу с нею, хотя бы на год, для утешения Михаила Александровича, подавленного смертью брата. Мария Дмитриевна провела с Фонвизинными последние месяцы жизни декабриста и преданно ухаживала за тяжело больным стариком [3, 7, 65—73].

В воспоминаниях М. С. Знаменского приводится отрывок из письма Н. Д. Фонвизиной к брату, где она пишет о талаше Марии Дмитриевны Францевой хлопотать о других у влиятельных аристократов [8, 14, 3]. Для Марии Дмитриевны, по ее нравственным качествам, воспитанию и убеждениям, было естественным принять участие в организации помощи Достоевскому и Дурову.

К сибирскому окружению декабристов принадлежал, как и Францева, Ждан-Пушкин, к которому она обратилась. В письмах близкого знакомого Фонвизинных А. И. Сулоцкого из Омска Иван Викентьевич постоянно упоминается как человек, хорошо известный адресатам [9, 67, 2, 1 об.—5; 9, 67, 3, 1 об.; 9, 67, 7, 2]. Знакомство это было связано, по-видимому, с определенной близостью убеждений. О взглядах Ждан-Пушкина говорят, в частности, подбор педагогов и установка в воспитании учеников кадетского корпуса — определял это именно он. Ждан-Пушкин был прислан в 1846 г. из Петербурга для реорганизации училища в кадетский корпус с правом

обращаться по этому делу прямо к Я. И. Ростовцеву — начальнику учебных заведений, минуя тогдашнего директора — генерала Шрамма [3, 6, 625—626].

Наиболее полное представление о педагогической деятельности И. В. Ждан-Пушкина дают воспоминания одного из самых талантливых выпускников корпуса — Г. Н. Потанина, который обращался к характеристике инспектора дважды — в воспоминаниях о С. Ф. Дурове и в биографии Ч. Ч. Валиханова.

Касаясь перестройки училища, Потанин писал: «Но самая главная реформа была произведена в классах; молодой артиллерийский капитан Ждан-Пушкин, служивший в строю на Кавказе, был назначен инспектором классов. Он внес новый дух в заведение.

Ждан-Пушкин был разносторонне образованный человек; он знал французский, немецкий и английский языки, был отлично знаком с историей европейской литературы, особенно английской, и с историей вообще. Случалось, что иной предмет останется без преподавателя — Ждан-Пушкин брал преподавание на себя. Так он по временам читал нам алгебру, всеобщую историю и артиллерию, и каждый предмет он читал лучше учителя. Но главным образом его благородный и открытый характер оставлял след в умах его питомцев; кадеты старались подражать ему» [10, 6—7].

Восхищенно вспоминал об инспекторе классов Г. Е. Катанаев*, учившийся в корпусе позднее Потанина, одновременно с Пашей Исаевым. «И действительно — по тому времени Иван Викентьевич Ждан-Пушкин был человек далеко не заурядный. При широком образовании он обладал кроме того и замечательной выдержкой характера, делавшей его участие в деле, на которое он обращал внимание, особенно значительным и ценным. Как теперь помню его видную выразительную фигуру, мирно расхаживающую по длинному классному коридору (обыкновенно с записной книжкой и табакеркою в руках) <...> Присутствие его в классе во время урока было обыкновенно наиболее производительным временем классных занятий, ибо при нем и учителя подтягивались и учени-

* Г. Е. Катанаев — историк Сибирского казачьего войска, один из организаторов Западно-Сибирского отдела Географического общества. Кадетскому корпусу посвящена вторая глава его неопубликованных «Воспоминаний», которые поступили в омский архив в 1929 г. от его дочери Людмилы Георгиевны Патрикеевой.

ки были внимательны; да и сам он своими наводящими вопросами и собственными разъяснениями <...> всегда вносил много нового, поучительного, чего обыкновенно и в учебниках не было, да и преподаватели нам не общали» [11, 23 об.— 24].

«Склад политических воззрений, с которыми я и мои сверстники вышли тогда из корпуса (в 1852 г.), можно бы назвать политическим двоеверием или политическим двоемыслием», — отмечает Потанин. Он пытается выяснить корни двойственности — сочетания республиканских и монархических взглядов: «Учебным делом в корпусе руководил инспектор классов Ждан-Пушкин, и ему были мы, конечно, обязаны своим воспитанием; это был прекрасный, благородный педагог, и в его программу, вероятно, не входило создать из нас таких двоеверов; это вышло само собою. Его намерением было только сделать из нас рыцарей, способных бесстрашно прямить царю. С этой целью он старался лучше поставить наше религиозное воспитание и преподавание всеобщей истории. Для преподавания истории он пригласил Гонсевского; это был молодой, чрезвычайно застенчивый поляк; хотя по тогдашней программе преподавание истории должно было кончаться 1815 годом, Гонсевский довел рассказ до 1835 года и таким образом запретный период сократил наполовину. Историю французской революции 1789 года он рассказал подробно и сделал из нас республиканцев; Лафайет и Демулэн стали нашими любимцами. Для преподавания закона Божия Ждан-Пушкин пригласил молодого священника А. Сулоцкого; это был скромный, добрый и набожный человек; он был искренне убежден, что Бог выше земных царей и энергически внушал нам эту идею <...> Сильный такую верую, он не смущался земною властью, и нам внушал, что нашим девизом должен служить текст: не убоюсь, что сотворит мне человек <...> Третий учитель, имевший влияние на формирование наших убеждений и правил жизни, был Костылецкий, преподаватель русского языка и истории русской словесности. Двое предыдущих Гонсевский и о. Сулоцкий были мирные проповедники истины, в их спокойной речи не было протеста; не в том роде был Костылецкий. В классах он нам ничего не рассказывал и не читал из курса, а к концу года приносил записки по истории русской литературы, по которым мы должны были готовиться к экзамену. Впоследствии, может быть, лет через десять,

мы узнали, что эти записки Костылецкий составлял по критическим статьям Белинского, тайным поклонником которого он был» [12, 256—257]. Замечания, которыми этот педагог сопровождал практические занятия, «сливались в нашей памяти в непрерывный протест против глупости, пошлости, ложного мишурного блеска, бездарности, пользующейся незаслуженной почестью и т. п. <...> У Гонсевского и о. Сулоцкого мы учились думать, у Костылецкого жить» [12, 257].

При всем различии воззрений и характеров подобранных Ждан-Пушкиным преподавателей определенный, задуманный им результат в воспитании, по-видимому, достигался. «Благодаря такому составу учителей, мы вышли из корпуса с большим интересом к общественным делам». Было еще нечто очень существенное в результатах воспитания, порожденное направлением, которое задавал инспектор. «Еще на школьной скамье мы задумывались, как мы будем служить прогрессу. Любовь к прогрессу у нас включалась в любовь к родине. Ждан-Пушкин хотел, чтобы любовь к родине являлась руководящей идеей в будущей нашей жизни, и любовь к России, действительно, стала религией нашего сердца» [12, 257—258].

Человек с такой «руководящей идеей» не мог быть чужд по духу Достоевскому, который в январе 1856 г. писал из семипалатинской ссылки А. Н. Майкову: «Россия, долг, честь? — Да! Я всегда был истинно русский — говорю вам откровенно <...> Читал ваши стихи и нашел их прекрасными; вполне разделяю с вами патриотическое чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери» [1, 1, 165].

Направление, поддерживаемое инспектором, находило благоприятные условия в местной обстановке. Сибирский кадетский корпус 50-х годов XIX в. представлял собой небольшой своеобразный очаг культуры в административном и военном Омске, на границе леса и степи, в непосредственной близости от южных кочевий. Здесь царила путаная смесь просветительства с элементами оппозиционности педагогов из ссыльных, казачьих традиций, военной строгости, научного поиска и мечтаний о полководческих победах. Мусульманин, потомок ханов Чокап Валиханов ходил на уроки отца Сулоцкого, а казачий сын Григорий Потанин мечтал о проникновении в тайны Во-

стока [10, 9 и 15]. В одном классе читали вслух арабские стихи, в другом с любовью рассказывали о «матушке Сибири» и «батюшке Иртыше» (так любил говорить педагог Егор Иванович Старков, родом казак, еще учеником поразивший знанием географии Гумбольта, посетившего Омское казачье училище в 1828 г.) [11, 52—52 об.]; Василий Петрович Лободовский, приятель Н. Г. Чернышевского, репетировал с кадетами «Ревизора», а рядом инженер-майор Вильгельм Вильгельмович Мусселиус педантично наставлял молодых сибиряков в премудростях полевой фортификации. Здесь изучались горные верблюжки тропы и теория словесности, основы сельского хозяйства и архитектура, танцы и начертательная геометрия [2, 34, 6—75; 2, 51, 4—4 об.]. Директор А. М. Павловский (сменивший Шрамма) традиционно приветствовал воспитанников двойным возгласом: «Здравствуйте, дворяне!» — в одну сторону, «Здравствуйте, казаки!» — в другую (ученики делились на «роту», состоявшую из детей офицеров и чиновников, служивших в Сибири, и «эскадрон», в который помещали детей казачьих офицеров) [11, 3—3 об.].

В структуре корпуса была подчеркнута сословная принадлежность, но о ней забывали в общих затеях; здесь выпускали рукописные юмористические журналы, ставили спектакли и устраивали литературно-музыкальные вечера [11, 32—36].

Из людей, связанных с кадетским корпусом, по меньшей мере четверо были знакомы с Достоевским: И. В. Ждан-Пушкин, А. И. Сулоцкий, Ч. Ч. Валиханов и В. В. Мусселиус.

И. В. Ждан-Пушкин живо откликнулся на просьбу Францевой и сразу же принял участие в судьбе петрашевцев, заключенных в Омском каторжном остроге. Из писем А. И. Сулоцкого узнаем, как нелегко давались эти хлопоты, с каким трудом отвоевывался благожелателями каждый шаг в создании сколько-нибудь сносных условий существования двух молодых литераторов.

К началу февраля 1850 г. уже многое было предпринято в этом направлении инспектором, но пока безрезультатно. «Добрый Иван Викентьевич,— писал Сулоцкий М. А. Фонвизину,— вследствие письма Марьи Дмитриевны (Францевой.— М. Г.), тогда уже адресовался к разным лицам с расспросами о возможности, о способах облегчения участи <...> Дурова и Достоевского и ото всех

(от иных и при мне) слышал одно, т. е. что пет никаких к тому способов, особенно в начале, теперь <...> Если Ив. Викентьевич, который со всеми знаком и всеми уважается, не может ничего сделать в пользу несчастных, то что же, думал я, сделаю я, я ничтожнейший, ни с кем не имеющий никаких сношений, вечно сидящий дома и ценимый <...> омскою знатью ниже простых приходских священников?! Во всех других случаях и в другое время я рад даже, что не имею связей с таким обществом, где кроме карт, сплетней и стараний уничижать наше бедное сословие, наш сан — доселе я ничего не находил, но вот на такой бы случай как бы могли пригодиться иные знакомства?! Но Вы скажете, что мой сан должен дать вход для меня в самые тюрьмы и остроги? Так, мы с Ив. Викентьевичем прихватились было за это, но нет, ответили, что входить к заключенным имеет право священник только местный, определенный к тому, а этим лицом в Омске от. протопоп» [9, 67, 2, 1 об.— 2; 13, 623—625].

Рассмотрев далее возможности протопопа, Сулоцкий замечает: «Моих хлопот доколе и только, по Ив. Викентьевич два раза был уже у коменданта, а этот, по слову Ивана Викентьевича, являлся ко князю (имеется в виду Горчаков.— М. Г.) со спросом, как поступать со вновь присланными арестантами, можно ли чем-нибудь отличать их от других, делать им кой-какие снисхождения (разумеется, ни о Вашей просьбе, ни о хлопотах Ив. Викентьевича тут не было упоминаемо) — и получил ответ: „по закону“. — Добрый Ив. Викентьевич хочет, наконец, обратиться прямо к плац-майору и просить его, чтобы он с теми господами по крайней мере не обходился варварски» [9, 67, 2, 5].

В этом месте подробного отчета Сулоцкого появляется мрачная фигура плац-майора Кривцова. «Что будет от его (Ждан-Пушкина.— М. Г.) хлопот и моих чрез протопопа, — не знаю: Кривцов корчит роль превеликого монархиста, ругает и своих командиров, когда они обходятся ласково с полит[ическими] преступниками, и обходится с ними зело не политично: присланного нынче осенью поляка, колл[ежского] советника профессора химии пружестостоко высек лозьми единственно за то, что тот, — когда Кривцов, смотря на его бороду, отрощенную в дороге, назвал его бродягой, — сказал: „Извините, Мил[остивый] Государь: я из полит[ических] преступников, осман за мнения, следовательно, бродягой называть

меня пельзя“. О Кривцове вот что скажу еще: еще на Кавказе в него спящего стрелял бывший в его команде донской казак; в Омске пред моим приездом один арестант сбил его с ног и порол ему горло нарочно отточенным ногтем, да прошедшею осенью известный Сотников на говвахте тоже его колотил; наконец, за Кривцовым 16 дел!» [9, 67, 2, 5—5 об.].

Если кто-либо из современных читателей еще сомневается в документальной достоверности «Записок из Мертвого дома», то письмо омского священника не оставляет на этот счет никаких сомнений. Здесь каждая строчка перекликается с «Мертвым домом»: и характеристика плац-майора, и трагический случай с Жуховским, и покушения на Кривцова. Рассказывая о своей первой встрече с майором, когда тот угрожал только что прибывшим политическим каторжанам розгами в случае неповиновения, писатель отметил: «Нас, то есть меня и другого ссыльного из дворян, с которым я вместе вступил на каторгу, напугали еще в Тобольске рассказами о неприятном характере этого человека. Бывшие там в это время старинные двадцатипятилетние ссыльные из дворян, встретившие нас с глубокой симпатией и имевшие с нами сношения все время, как мы сидели на пересыльном дворе, предостерегали нас от будущего командира нашего и обещались сделать все, что только могут, через знакомых людей, чтоб защитить нас от его преследования» [14, 4, 213].

В феврале 1850 г. своеобразные отчеты Сулоцкого становятся более обнадеживающими. Первым успехом была задержка Федора Михайловича в остромном госпитале, куда он поступил с самого прибытия [9, 67, 2, 5 об.].

«Письмо мое, по всей вероятности, опечалило Вас, добрую Наталью Дмитриевну и других, принимающих участие в горькой доле С. Фед. Дурова и его товарища,— писал Александр Иванович Фонвизину 11 февраля о своем предыдущем письме, которое цитировалось выше.— Но что же делать? Я бессилен, а плац-майор именно таков, каким я описал его. Немудрено вовсе, что Кривцов обругал их,— это совершенно в его духе; впрочем, в Омске об этом не слыхать, по крайней мере до моего слуха не дошло еще». Примечательно упоминание о том, что судьбой двух петрашевцев интересуются и другие декабристы. К тому же, оказывается, информация в Тобольск

во всех деталях поступала и помимо линии Ждан-Пушкин — Сулоцкий: Фонвизины уже откликнулись на известие о характере встречи с майором Достоевского и Дурова, а аккуратный корреспондент их еще ничего не знал об этом. «Не будут ли для Вас хоть малым утешением, — продолжает он, — следующие сведения, полученные мною от Ив. Викентьевича (он с неделю уже болен): г. Достоевский все в лазарете; главный лекарь Троицкий, по просьбе Ив. Викентьевича, толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино; но он отказывается от всего этого, а просит только о том, чтобы принимать почаще в лазарет и помещать в сухой комнате» [9, 67, 3, 1 об.].

И 15 февраля: «Он (Дуров.— М. Г.) и г. Дост[оевский] очень благодарны, замечая, что главный лекарь принимает в них участие.— Мы чрез Троицкого наконец добились позволения пересылать им по крайней мере книги св[ященного] писания и духовные журналы (...). Кривцов пред протопопом выказывает себя состраждущим к несчастным и обещает их отпустить к нему при всяком приглашении. Авось, хотя это и неизвестно, когда будет, и я увижусь» [9, 67, 4, 1—1 об.].

Первая попытка Сулоцкого проникнуть в госпиталь потерпела неудачу. «Напрашивался было я у главного доктора в лазарет, чтобы видеться с Сер. Фед. и его товарищем; но мне отвечали, что без позволения коменданта никак нельзя...» [9, 67, 5, 2]. В этом же письме от 22 февраля 1850 г. Сулоцкий просит выписать для него книги из Москвы через декабриста И. А. Анненкова, который в это время состоял на службе в Тобольске.

К маю уже осуществлялась пересылка текстов, написанных заключенными, и передача им книг светского характера. «Милостивая государыня Наталья Дмитриевна! Молитвы за страждущих — это другое дело; на них и на посильные хлопоты для гг. мечтателей да благославит Вас Бог. Но отчаянья, непрестанной скорби, мстительности кой-кому — всего этого да не будет.— Стихи Сергея Ф[едоровича], без всякого сомнения, у Вас уже и для Вас отрадны.— Его я видал, даже перебросил с ним несколько слов; случай к тому был тот, что мне, за отсутствием протопопа, довелось приводить к присяге Троицкого и нек[оторых] других лекарей.— Г. Д[остоевского] посещает, хоть изредка, товарищ его по корпусу Осипов. Сергей Фед. пожелал ознакомиться с историей

русского] раскола, и я отправил ему для этого книги.— Вот все, что теперь могу сказать об этом» [9, 67, 6, 2].

Длительные сроки пребывания в госпитале и благожелательность И. И. Троицкого сделали реальными личные контакты с Достоевским. В августовском письме читаем: «О страдальцах только я и знаю, что они почти постоянно в лазарете и что, когда живут тут, пользуются столом от главного лекаря Троицкого. Слышал я еще от протопопа, что и он видался и беседовал с ними; причем Достоевский просил достать для него Историю и Древности иудейские Иосифа Флавия. Но в Омске этой книги не оказалось. Не пришлет ли ее Степан Михайлович? (декабрист Семенов.— М. Г.). У него есть она на французском языке» [9, 67, 7, 1 об.].

Протопоп, о котором неоднократно писал Сулоцкий декабристам в связи с делами Достоевского и Дурова,— Дмитрий Семенович Пономарев (имя названо в одном из писем Фонвизиным [9, 67, 2, 2 об.]). Этот человек был в числе первых из живущих вне острога лиц (наряду с доктором И. И. Троицким и товарищем по инженерному корпусу Осиповым), с которыми имел возможность общаться Достоевский вскоре после приезда в Омск.

Д. С. Пономарев служил протоиереем омского Воскресенского собора, к которому по делам веры относился крепостной острог, с 1835 по 1853 г. Много лет спустя после рассматриваемых нами событий А. И. Сулоцкий писал о Пономареве, которого давно уже не было в живых, как о человеке «умном, добром, ласковом, бескорыстном», умевшем «наставлять не понимающего, вразумлять заблуждающегося и учить добру согрешающего». Сулоцкий подчеркивал при этом, что Дмитрия Семеновича охотно слушали многие образованные люди [15, 93, 69—72 об.]. При Пономареве значительно пополнилась библиотека собора: в течение многих лет в ответ на запросы консистории книги заказывала почти исключительно Соборо-Воскресенская церковь — другие церкви Омского заката, как правило, отказывались от них [16, 36, 18—20 и 170].

Подводя итог тому, что удалось сделать за семь месяцев, Сулоцкий заметил: «Слава Богу, что Ив. Викентьевич по своей доброте, ревности к добру и связям со многими достиг до возможности делать то, что теперь делает. Мне, при моей неловкости и при крайнем недостатке

в порядочных знакомствах, никогда бы не достигнуть до подобных результатов» [9, 67, 7, 1 об.— 2].

Скромный корреспондент Фонвизиных преуменьшал значение своего участия в связях с заключенными. Но Сулоцкий прав, подчеркивая добрую ревностность инспектора. По словам Францевой, Ждан-Пушкин постоянно информировал тобольских друзей о Достоевском и Дурове. Далеко не всякое письмо можно было отправить с оказией настолько надежной, чтобы писать свободно. Придуман был своеобразный шифр: «он как инспектор кадетского корпуса писал ко мне о них под видом известий будто бы о родственниках-кадетах» [3, 6, 629]. У Марии Дмитриевны учился в корпусе в эти же годы брат [9, 67, 3, 2 об.].

И. В. Ждан-Пушкин продолжил опеку и после выхода Федора Михайловича из каторжного острога. Обращаясь к инспектору в июле 1857 г. с просьбой о Паше Исаеве, Достоевский вспоминает, что был у него в Омске. Это могло произойти только в феврале—марте 1854 г.— между освобождением из тюрьмы и выездом в Семипалатинск.

«Когда-то Вы обратили внимание на жалкую судьбу двух несчастных — меня и Дурова, и приняли нас в Вашем доме. Я всегда слышал о Вас то, что научило меня искренне уважать Вас; доброта же Ваша к нам научила меня и любить Вас. Без боязни и доверчиво обращаюсь к Вам теперь с убедительнейшею просьбою; ибо знаю, кого прошу». Дав характеристику Паши, Федор Михайлович продолжает: «За верность портрета я ручаюсь. Но согласитесь, если он верен, то как легко этому мальчику совертаться с пути и впасть в дурные наклонности! А вместе с тем, как легко при руководстве сделать из него прекрасного человека!

Об этом-то я и прошу Вас, благороднейший Иван Викентьевич, будьте его благодетелем, взгляните на него иногда попристальнее, и — только! более я не смею Вас беспокоить моими просьбами. Что будет более, то произойдет от Вашего благородного сердца. Добрые дела свободны. А я на Вас вполне надеюсь во всем» [1, 4, 260—261].

Судя по всему, именно Ждан-Пушкину обязан писателю своим самым значительным семипалатинским знакомством — с семьей М. Д. Исаевой (будущей жены Достоевского). Федор Михайлович был принят у Исаевых

сразу после приезда в Семипалатинск — без рекомендации это вряд ли было возможно. Между тем, по свидетельству самого Достоевского, А. И. Исаев знал Ждан-Пушкина и говорил о нем с увлечением.

«Я получил письмо от Ждан-Пушкина, инспектора корпуса, наполненное известиями о Паше» (Достоевский — В. Д. Констант, 30 ноября 1857 г.). Инспектор проявлял внимание к мальчику и извещал Достоевского о пасынке вплоть до самого ухода Павла из корпуса, связанного с отъездом всей семьи из Сибири. Когда Федор Михайлович был уже в Твери, Ждан-Пушкин направил ему письмо в адрес его брата М. М. Достоевского — содержание письма нам неизвестно. Ясно лишь, что оно живо интересовало писателя. «На счет письма Ждан-Пушкина и пакета к Марии Дмитриевне, то пришли их непременно», — писал он брату [1, 1, 228; 1, 2, 612].

В июне 1860 г. И. В. Ждан-Пушкин еще служил в Омске (судя по кондуктному списку кадетского корпуса) [2, 105, 2—6]. Позднее он был переведен в Первый Московский кадетский корпус в той же должности инспектора классов, но сохранил контакты с А. И. Сулоцким, оставшимся в Омске [17, 590, 2 об.].

Линии связи кадетского корпуса с Достоевским переплетались отчасти с контактами местных инженеров и выпускников Главного инженерного училища с бывшим коллегой.

Переплетению личных связей способствовала определенная преемственность между этими учебными заведениями. Директор омского корпуса — Александр Михайлович Павловский, которого так высоко оценил Достоевский в письме к В. Д. Констант, принадлежал к первому выпуску Главного инженерного училища и служил в нем репетитором в начале своей карьеры [18, 61]. В 1847 г. он был направлен в Сибирский кадетский корпус и с 1851 по 1862 г. возглавлял его [2, 8, 1; 19, 81].

Среди педагогов Сибирского кадетского корпуса к инженерной когорте принадлежал Вильгельм Вильгельмович Мусселиус, сослуживец М. М. Достоевского по инженерной команде в Ревеле в 1838 г. [20, 281]. А. Е. Ризенкамф, тоже знавший этого инженера по совместной службе в ревельской команде, отметил в воспоминаниях и в письме к младшему брату Федора Михайловича — А. М. Достоевскому — в 1881 г., что Мусселиус принимал «самое теплое участие» в судьбе Федора Михайловича в

Омске [21, 327 и 549]. Само по себе свидетельство Ригзенкампа не заслуживало бы большого доверия, так как в Омске в эти годы он не служил и сведения его о жизни Достоевского на каторге достаточно фантастичны*, но о Мусселиусе сохранились данные других источников.

19 декабря 1851 г. Штаб главного начальника военно-учебных заведений запросил у Сибирского кадетского корпуса срочные секретные сведения о гарнизонном инженер-майоре Мусселиусе; сведения должны были впредь подаваться руководством корпуса ежегодно, по установленной форме [2, 51, 1]. Что послужило причиной установления негласного надзора — неясно. Числились ли за Вильгельмом Мусселиусом какие-либо политические проступки, из-за которых он и получил назначение в Сибирь? Не исключено, что надзор был установлен в результате доноса, содержащего сведения о его контактах с Достоевским в Омске.

А. М. Павловский ответил на запрос 16 января 1852 г. самой лестной характеристикой — он умел постоять за своих педагогов. Из ответов, втиснутых в печатную схему ведомости, следовало, в частности, что подозреваемый в политической неблагонадежности инженер-майор Мусселиус характером «кроток», имеет «особенные наклонности» к воспитанию детей. А в графе «отличительные качества» стояло: «откровенен и доверчив» [2, 51, 4—4 об.].

Выпускником петербургского Главного инженерного училища был Константин Иванович Иванов (окончил его на год позже Достоевского), служивший в Омске в штабе военных инженеров. На его роли в сибирской жизни писателя мы остановимся ниже отдельно в силу особой значительности его помощи.

Следует иметь в виду традицию ряда учебных заведений считать выпускников разных лет как бы принадлежащими к одной корпорации. Эта традиция обязывала к взаимной выручке и поддержке. Подобная преемственность, четкое понятие о причастности к одной общности прослеживаются во взаимоотношениях ссыльных и служивших в Сибири выпускников Лицея разных лет (например, И. И. Пущин и А. Е. Врангель). Устойчивыми традициями такого рода обладало и Главное инженерное

* Подробно об этом см. в главе 3.

училище. В воспоминаниях о пребывании Достоевского в инженерном училище отмечено, что «Федор Михайлович был из тех кондукторов, которые строго сохраняли законы своей almae mater, поддерживали во всех видах честность и дружбу между товарищами, которая впоследствии между ними сохранялась целую жизнь. Это был род масонства, имевшего в себе силу клятвы и присяги» [22, 98].

Когда Сулоцкий 31 мая 1850 г. извещал Фонвизиных о первых успехах в опеке над заключенными, он упомянул, что «г. Д[остоевского] посещает, хоть изредка, товарищ его по Корпусу Осипов» [9, 67, 6, 2]. Судя по контексту, это были визиты в госпиталь. С. В. Житомирская высказала предположение, что это Г. А. Осипов, правитель дел Сибирского кадетского корпуса*. На основании формулярных и кондуктных списков нам удалось установить, что Григорий Афанасьевич Осипов, действительно, был правителем дел корпуса, но по возрасту никак не мог быть товарищем Федора Михайловича по инженерному училищу, так как служить начал с 1816 г., да и к инженерному делу не имел никакого отношения [2, 998, 9 об.— 10]. Младший брат его — Иван Афанасьевич Осипов — тоже служил в Сибирском кадетском корпусе в эти годы в должности бухгалтера, но никогда не был причастен к инженерам [2, 110, 34 об.— 35].

Не исключено, что Достоевского навещал старший сын Г. А. Осипова — Николай, в формулярном списке которого значится, что он «в службу вступил в инженерный корпус». Николай Осипов был на десять лет моложе Федора Михайловича [2, 998, 10 и 13]. Учиться с ним одновременно в Петербурге он не мог, но в силу традиций инженеров того времени считался, как мы уже писали, принадлежащим одной корпорации, да и мог иметь поручения от однокашников Достоевского. Н. Г. Осипов служил в Омской инженерной команде кондуктором 2-го класса, когда в город привезли Достоевского. В сентябре 1850 г. молодого Осипова причислили в штат начальника инженеров Отдельного сибирского корпуса, где служил и К. И. Иванов. Сам начальник инженеров Бориславский благожелательно относился к заключенным петрашевцам.

* С. В. Житомирской опубликованы с купюрами это письмо, а также отрывки из четырех цитируемых нами писем Сулоцкого Фонвизиным (№ 3, 4, 6, 7) [13, 623—625].

Девятнадцатилетний Коля Осипов мог выполнять что-то поручение, а мог руководствоваться собственным порывом.

Но скорее всего в письме Сулоцкого речь идет о военном инженере Павле Михайловиче Осипове, который служил в Инженерном управлении Туркестанского военного округа. В Главном инженерном училище он был курсом старше Достоевского [18, 100].

Устойчивые многолетние контакты с воспитанниками инженерного корпуса, сохранявшиеся и развивающиеся даже в самых невозможных, казалось бы, условиях, наводят на мысль о том, что в этой среде исследователей ждут еще находки, связанные с литературными замыслами Достоевского. Вот факт из этой области: один из выпускников Главного инженерного училища, закончивший прапорщиком кондукторский класс в 1848 г., носил фамилию Версилов [18, 112] — фамилию, ставшую близкой читающей русской публике после выхода в свет «Подростка». Более значителен другой факт. В Главном инженерном училище была хорошо известна необычная судьба одного из его выпускников — Дмитрия Александровича Брянчанинова. Он закончил верхний инженерный класс в 1826 г. в чине подпоручика и был направлен в Петербургский, а затем переведен в Динабургский инженерный округ. В 1827 г. Брянчанинов неожиданно уволился со службы, попросил отставку и стал послушником в пустынном Свирском монастыре Олонецкой губернии. В 1833 г. Д. А. Брянчанинов (в монашестве — Игнатий) стал настоятелем одного из монастырей Вологодской губернии, а в 1834 г. — Сергиевской пустыни на Петергофской дороге [18, 73].

Резкий переход от офицерского чина к пустынножительству сближает Игнатия Брянчанинова с Зосимом Достоевского из романа «Братья Карамазовы». Сходно по срокам и стилю пребывание в Петербурге, в корпусе. «В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти восемь лет, и с новым воспитанием многое заглошил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего, — пишет Достоевский в романе от имени Зосимы. — Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, а служивших нам в корпусе солдат считали мы все как за совершенных скотов,

и я тоже. Я-то, может быть, больше всех, ибо изо всех товарищей был на все восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, а настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть, а узнал бы, так осмел бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; все эти молодые люди были хорошие, да вели-то себя скверно, а пуще всех я» [14, 14, 268].

Мог ли Достоевский вынести такие впечатления из своего пребывания в инженерном корпусе? С полной определенностью на это можно ответить утвердительно. Об отрицательных сторонах воспитания в учебных заведениях типа кадетского корпуса, ссылаясь на личный опыт, Федор Михайлович писал в 1858 г. из Семипалатинска И. В. Ждан-Пушкину (письмо цитировалось нами выше, в другой связи).

Не зная о Д. А. Брянчанинове Достоевский просто не мог — в инженерном училище не только во время обучения писателя, но и много позднее сохранялись сведения о биографии офицера-монаха (умер он в 1867 г.) Когда М. Максимовский издавал в 1869 г. свою книгу по истории корпуса, сведения о некоторых выпускниках оказались скудными и неточными, о Брянчанинове же он получил четкую информацию. Обстоятельства жизни Брянчанинова наверняка обсуждались в среде бывших выпускников училища. Между тем, это лицо до сих пор не попадало в поле зрения исследователей биографии и творчества писателя. Убедительным свидетельством интереса Федора Михайловича к Брянчанинову (Игнатию) служит то, что в библиотеке писателя было три издания его сочинения «Слово о смерти» (1862, 1863 и 1881 гг.) [23, 260].

В Омске Достоевский столкнулся со своего рода продолжением среды Главного инженерного училища (кадетский корпус, военные инженеры), и это несомненно способствовало пополнению прежней информации и оживлению интереса писателя к своим «однокашникам».

ГЛАВНЫЙ ЛЕКАРЬ И ГАРДЕМАРИНЫ

Доктор Иван Иванович Троицкий, по свидетельству современника, был известен своим гуманным отношением «ко всем больным без исключения, начиная с высшего начальства и кончая последним арестантом-преступником». Он начинал службу ординатором одного из госпиталей военных поселений Новгородской губернии. В 1831 г. был там свидетелем восстания и «избежал смерти по любви к нему подчиненных солдат: он переоделся в солдатское платье и три дня исполнял, вместе с нижними чинами, обязанности госпитального служителя». По ходившим в Омске слухам, Троицкий помогал потом участникам этого восстания, сосланным в Сибирь [24, 279].

В Омском военном госпитале главный врач задавал тот стиль обращения с арестантами, который был отмечен Достоевским в «Записках из Мертвого дома»: «Повторяю: арестанты не нахвалились своими лекарями; считали их за отцов, уважали их. Всякий видел от них себе ласку, слышал доброе слово; а арестант, отверженный всеми, ценил это, потому что видел неподдельность и искренность этого доброго слова и этой ласки. Она могла и не быть; с лекарей бы никто не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее: следственно, они были добры из настоящего человеколюбия» [14, 4, 137—138]. Однако по самой должности своей Иван Иванович не мог обойтись без определенной административной жесткости. Именно И. И. Троицкий послужил прототипом старшего доктора в «Мертвом доме»: «Старший доктор хоть был и человеколюбивый и честный человек (его тоже очень любили больные), но был несравненно суровее, решительнее ординатора, даже при случае выказывал суровую строгость, и за это у нас его как-то особенно уважали. Он являлся в сопровождении всех госпитальных лекарей, после ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободряющее, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее впечатление» [14, 4, 143].

Насколько непросто было доктору Троицкому держать подолгу политических узников в госпитале при хо-

рошем их состояннии, можно представить по эпизоду, рассказанному И. В. Ждан-Пушкиным в письме к Францевой: «Однажды пачальник штаба, генерал Жемчужников, посетил военный лазарет и, видя здоровый вид Достоевского и Дурова, шепнул главному доктору Троицкому, чтоб он их выписал, прибавив при этом по секрету, что в них и князь Горчаков принимает большое участие и им не так худо будет и вне госпиталя; действительно, коменданту было передано по секрету, чтоб с ними и обращались хорошо и не употребляли их на тяжелые работы. Причина приказанія выписать их из госпиталя была, кажется, трусость князя» [3, 6, 629—630].

Несмотря на официальность своего положения, главному лекарю удавалось иногда говорить с Достоевским с глаза на глаз. В письме к Фоввизину А. И. Сулоцкий сообщал о том, что в первые же дни каторги Троицкий предостерегал писателя «на счет связей с прочими заключенными», в том числе и дворянами, «из которых некоторые, несмотря на свое происхождение, усвоили уже хитрость, низость и пр. качества; и он (Достоевский.— М. Г.) принял все это с благодарностью» [9, 67, 3, 1 об.]. Как мы знаем из «Мертвого дома», в отношении Аристового (А-в у Достоевского) такое предостережение было весьма уместно.

К сожалению, судьба документов о службе военных медиков оказалась менее благополучной, чем дел кадетского корпуса: фонд Омского военного госпиталя не сохранился. Но нам удалось разыскать в материалах Омской консистории, казачьего войска и городского полицейского управления немало упоминаний (в разной связи) о докторе Иване Ивановиче Троицком и некоторых других медиках госпиталя. Эти сведения подтверждают и дополняют информацию писем А. И. Сулоцкого и мемуарных материалов.

Иван Иванович оставался главным лекарем госпиталя на протяжении всего периода каторги Достоевского: он отмечен в этой должности в метрических книгах омской Собо-ро-Воскресенской церкви в начале 1850 г. и в январе 1854 г. [25, 3348, 12 об.; 25, 3610, 5 об.]. Промежуточные даты тоже проверяются рядом документов. 20 октября 1854 г. Троицкий уже именуется корпусным штаб-доктором [25, 3610, 43].

Жена Троицкого Мария Николаевна была, по представлениям знакомых, «прелестнейшая и добрейшая жен-

щина, каких судьба посылает на землю только по одной в десятилетие». Несмотря на обремененность Марии Николаевны детьми, а Ивана Ивановича — тяжелой службой госпитального врача, это было на редкость отзывчивое семейство, всегда готовое прийти на помощь другим. Троицкие посылали домашние обеды в госпиталь Достоевскому и Дурову. В их доме был принят как член семьи смышлёный гардемарин Павел Брылкин, за которого Мария Николаевна заступилась, когда его начал преследовать бригадный генерал Ф. А. Масловский [24, 262—263; 26, 39, 356].

Из омских военных к семье Троицких ближе других были В. Я. Шаховской [25, 3610, 43 об.] — адъютант командира Отдельного сибирского корпуса, комендант де Граве и П. М. Спиридонов. Когда в 1853 г. у Троицких родился сын Павел, восприемником при его крещении стал полковник Петр Михайлович Спиридонов [25, 3532, 5]. Скромная запись об этом семейном событии в метрической книге, свидетельствующая о близости двух семей, проливает свет на некоторые факты из жизни Достоевского в омский и семипалатинский периоды.

Полковник Спиридонов исправлял должность пограничного начальника сибирских киргизов [27, 3217, 603]. В этом качестве он в 1854 г., когда принято было решение о выделении Семипалатинской области, приложил немало усилий к тому, чтобы в новых областных учреждениях появились образованные люди, подготовленные к ориентации в специфических условиях степного края [28, 3571, 89—89 об.]. На лицеиста А. Е. Врангеля, приехавшего в этом году в Семипалатинск и получившего там должность областного стряпчего, Спиридонов произвел благоприятное впечатление: «Воецный губернатор области (...) был П. М. Спиридонов, добрейший человек, простяк, гуманный и в высшей степени хлебосол. Благодаря своему высокому положению, он был, конечно, первое лицо в городе. Я очень скоро сделался у него своим человеком, обедал через день и приобрел его полное доверие. Он встречал Достоевского то там, то сям и, кажется, сам даже ходатайствовал за него у батальонного командира **по просьбе из Омска**» (выделено нами. — М. Г.). И далее: «Вскоре Спиридонов искренне полюбил Достоевского, — он сделался у него своим человеком; где только мог, Спиридонов ему помогал и вообще был ему полезен» [29, 25]. По-видимому, позиция Спиридонова в

значительной мере определялась дружеским влиянием на него доктора И. И. Троицкого и других омских знакомых писателя. Именно Спиридонов, по свидетельству самого Достоевского, передал его стихи Гасфорду, изложив устно просьбу писателя о позволении ему печататься [1, 1, 187]. Троицкий был хорошо осведомлен об этом факте [24, 282].

Отношение И. И. Троицкого к Достоевскому и Дурову в госпитале не осталось незамеченным недоброжелателями. По сведениям П. К. Мартянова, изложенным в его записках, ординатор госпиталя Крыжановский донес на старшего доктора в Петербург за «слишком большое снисхождение и потворство политическим арестантам». По доносу «было прислано особое лицо для расследования, и омскому начальству немало стоило трудов, чтобы замять дело, сильно раздутое доносчиком. Но при всем том, что доктор Троицкий не был признан виновным, ему объявили строгий выговор, а доносчика только перевели из Омска в другой госпиталь, расположенный где-то на пограничной линии» [24, 275].

Здесь уместно рассмотреть вопрос о степени достоверности записок П. К. Мартянова. Петр Кузьмич Мартянов (1827—1899) — военный инженер и плодовитый писатель, автор повестей, юморесок, стихотворений, литературоведческих работ и статей по военному делу. Интересующие нас записки принадлежат к числу самых крупных его публикаций и представляют собой беллетризованный рассказ о современных автору реальных событиях и лицах, близкий к жанру очерка. Как известно, они были издапы первоначально в 1895 г. в «Историческом вестнике» под названием «В переломе века». Записки состоят из двух частей — «Гардемарины» и «Морячки», связанных последовательным изложением судьбы группы воспитанников Морского кадетского корпуса. В первой части пребывание их в Петербурге дается на фоне обстоятельной характеристики обстановки в корпусе; во второй — описание омской ссылки разжалованных гардемаринов сопровождается детальной картиной общественной жизни сибирского города, тех слоев, учреждений и лиц, с которыми столкнулись молодые петербуржцы.

Сам П. К. Мартянов не дал никаких пояснений об источниках его сведений о гардемарирах. Поздние сроки публикации, естественно, вызывают недоверие к запискам как источнику. Между тем текст поражает обилием ин-

формации: события в Омске излагаются с такими подробностями (имена-отчества участников, членов их семей, должности, взаимоотношения, служебные функции и светские сплетни), которые могут быть либо результатом записи по свежим следам, либо вымыслом. Учитывая значение этого источника для изучения омского (а отчасти и семипалатинского) периода жизни Достоевского, мы предприняли попытку проверить его сведения о чиновниках и офицерах города по фондам соответствующих учреждений Государственного архива Омской области. Результат превзошел все ожидания: подтвердилась возможность проверить подавляющую часть сообщаемых Мартьяновым фактов; они оказались достоверными (за небольшими отклонениями, естественными и для участника событий, уровень информированности которого о разных лицах не мог быть одинаковым).

С разной степенью подробности Мартьянов характеризует свыше пятидесяти лиц из омской военно-чиновничьей среды 1850-х годов [24, 247—283]. Сведения более чем о сорока из них встретились в официальных документах, удостоверяющих правильность фамилий, чинов, должностей, сроков пребывания в Омске, указанных в записках *. Документально подтверждаются не только крупные факты местного управления (смена генерал-губернатора Горчакова Гасфордом и некоторые особенности правления каждого из них, ревизия Шлиппенбаха и пр.), но и наблюдения о личных взаимоотношениях и пристрастиях, родственных связях. Например, довольно подробно описывая семью генерала Ф. А. Шрамма — директора кадетского корпуса, Мартьянов говорит о влиянии его жены, Александры Родионовны, на князя Горчакова, о покровительстве со стороны князя ее взрослым детям (двух дочерей, в частности, благословил он при выдаче замуж; при этом названы и мужья — генерал-майор Клейст и ротмистр князь Шаховской) [24, 253—256]. Запись в соборо-воскресенской метрической книге за 1850 г. свидетельствует, что при крещении ребенка В. Я. Шаховского и его жены Анны Федоровны восприемниками были князь

* ГАОО, ф. 3, оп. 2, д. 2125, 2733, 2768, 2901, 2976, 3217; оп. 3, д. 3522, 3565, 3761; ф. 67, оп. 1, д. 601, 638, 721, 735; ф. 16, оп. 2, д. 3348, 3515, 3532, 3610; ф. 14, оп. 3, д. 384, 385; ф. 9, оп. 1, д. 121, 133. Этот перечень не исчерпывает всех дел, в которых фигурируют упоминаемые Мартьяновым лица.

П. Д. Горчаков и Александра Родионовна Шрамм [25, 3348, 17 об.].

Достоверность деталей говорит о непосредственности наблюдения и малом разрыве во времени между наблюдением и записью. В примечаниях к «Запискам из Мертвого дома» в последнем издании сочинений высказано предположение, что Мартьянов имел в своем распоряжении записки одного из гардемарин [14, 4, 281]. Сопоставление с омскими архивными материалами позволяет утверждать это с уверенностью. Записки гардемарина были, несомненно, дневникового типа — писались по свежим следам. (Ниже мы рассмотрим вопрос о том, кто был автором дневника, использованного Мартьяновым.) В то же время сравнение данных Мартьянова со Статейными списками омских арестантов за 1853 г. привело комментатора к выводу о необходимости осторожного отношения к его запискам [14, 4, 281]. На наш взгляд, неточности Мартьянова в именах и определении преступлений некоторых арестантов из каторжного окружения Достоевского, в том числе поляков, вполне понятны — гардемарин не имел дела с документацией каторжного острога и вряд ли беседовал с этими людьми. Но подавляющая часть сведений записок достоверна и заслуживает пристального внимания во всех своих деталях, выписанных первоначально наблюдательным современником событий. Заметим также, что обрисованное Мартьяновым отношение Троицкого к Достоевскому совершенно созвучно письмам А. И. Сулоцкого, содержание которых не могло быть известно мемуаристу.

В письмах Сулоцкого Фонвизиним есть характеристика враждебного отношения к главному лекарю госпиталя врача Крыжановского. В письме, датированном январем 1853 г., он назван бывшим подчиненным Троицкого [9, 67, письмо без номера, 2 об.]. Л. П. Крыжановский встречается и на страницах метрических книг Омска: в январе 1851 г. он был штаб-лекарем 6-го батальона (т. е. уже удален из госпиталя после ревизии, закончившейся в пределах 1850 г.); в той же должности он упомянут в августе 1852 г. [25, 3434, 5 об.— 6 и 36 об.].

В свете сказанного вернемся к эпизоду расследования по доносу Крыжановского в изложении Мартьянова. «Расследование это, однако ж, не обошлось без курьезов. Присланный из Тобольска для производства следствия советник уголовной палаты барон Шиллинг принялся за дело

горячо, держал себя авторитетно и от знакомства с омским обществом сторонился» [24, 275]. Этот же текст в рукописи, обнаруженной нами в фонде П. К. Мартьянова в Центральном государственном военно-историческом архиве, выглядит совсем иначе: «Расследование это имело свою курьезную сторону — всеобщее противодействие раскрытию истины, и немало возбудило в то время смеху и говора в омском бомонде. Главными пунктами обвинения главного доктора Омского госпиталя И. И. Троицкого, по доносу Кр-го, были: прием в госпитале в видах облегчения положения не больных, но притворяющихся больными политических арестантов, в особенности Ф. М. Достоевского и С. Ф. Дурова, доставление им особых удобств, хорошей пищи, книг и письменных принадлежностей». Весь этот отрывок, четко связавший обвинение в адрес Троицкого с именами петрашевцев, зачеркнут. Имя доносчика дано в рукописи в сокращении [30, 203, 25]. По-видимому, и во время публикации записок Мартьянова нельзя было прямо сформулировать все обстоятельства омских событий.

Из документов Главного управления Западной Сибири выясняется, что фон Шиллинг был в 1849—1850 гг. советником этого управления от министерства юстиции и провел ряд ревизий: позднее Шиллинг стал председателем Тобольского губернского суда [27, 2733, 1—182; 27, 2768, 1—11; 31, 133, 207]. Поведение Шиллинга, читаем в записках Мартьянова, «не могло понравиться местным властям, они приняли против него свои меры, и бедный следователь к раскрытию истины надлежащего содействия не получил. Спрошенные им, по указанию ординатора Крыжановского, свидетели не подтвердили сделанных доносчиком заявлений. Политические арестанты при допросе их давали такие уклончивые иносказательные ответы, что следователь становился в тупик и только бранился. Так, Ф. М. Достоевский, на сделанный ему следователем вопрос: не писал ли он чего-либо в остроге или когда находился в госпитале? — ответил:

— Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю.

— Где же материалы эти находятся?

— У меня в голове.

С. Ф. Дуров на тот же вопрос отвечал:

— Зачем писать, когда мы, поэты, можем петь!.. петь

приятней, чем писать... Поляки <...> ответ держали в унисон с русскими».

«Следователь, — продолжает Мартьянов, — видя неудачу, решился на крайнюю меру — произвести обыск в остроге. Он написал об этом коменданту, и острог подвергся внезапному осмотру. Но арестантов предупредили под рукою заблаговременно, и они к посещению начальства приготовились. Все запрещенное было ими удалено и припрятано вне острога, кроме нескольких вещей, оставленных под нарами и в других местах для смеха над начальством и потехи. В назначенное время, вместе со следователем прибыли в острог комендант, плац-майор и острожное начальство. Арестанты под конвоем были выведены из камер и поставлены во фронт на дворике острога; все же занимаемые ими помещения строжайше обысканы. Трофеями обыска оказались: банка помады, флакон одеколона, рваная женская юбка, чулки и детский нагрудничек. Но самой неожиданной находкой было несколько писанных листков почтовой бумаги. Комендант и следователь одновременно протянули к ним руки, и, когда читали их, оба расхохотались. На листках написано было, в виде молитвы, заклинание от сатаны, исшедшего из преисподней на землю, в образе изверга — плац-майора Кривцова. Нужно ли говорить: какую обильную пищу дал этот грозный обыск для смеха омскому обществу» [24, 275—277].

«Сибирская тетрадь» Федора Михайловича, сохранившаяся для потомков, выразительнее всех других фактов говорит о том, что кое-что писать удавалось. Эта самостоятельная тетрадь, сшитая из простой писчей бумаги, в восьмую долю листка, потому и дожила до наших дней, что Достоевский очень ценил ее. Известно, что рукописи, если они не нужны уже были ему для работы, он предпочитал уничтожать [32, 136 и 146]. Но эту безымянную тетрадку — неистощимый источник народных выражений, взятых с натуры, и собственных наблюдений и заметок — писатель сохранил и постоянно к ней обращался.

Достаточно убедительное свидетельство создания первых набросков глав «Мертвого дома» в период каторги* находим у П. К. Мартьянова: «„Записки Мертвого дома“, как рассказывал одному из юношей И. И. Троицкий, на-

* Подробнее о ранних сроках написания первых вариантов отдельных глав см. [33, 131—152].

чал писать Достоевский в госпитале, с его разрешения, так как арестантам никаких письменных принадлежностей без разрешения начальства иметь было нельзя, а первые главы их долгое время находились на хранении у старшего госпитального фельдшера» [24, 269].

Кто был старшим фельдшером госпиталя в это время и насколько вероятно, чтобы Иван Иванович Троицкий оказывал ему такое доверие? Омский краевед А. Ф. Палашенков отметил в 1965 г., что фамилия старшего госпитального фельдшера «к сожалению, неизвестна» [34, 31]. Это был итог разысканий, связанных преимущественно с устной омской традицией, — архивами Палашенков, судя по всему, не пользовался.

Обращение к церковным метрическим книгам Омска позволило нам установить, кто был старшим фельдшером военного госпиталя. Алексей Аполлонович Аполлонов упоминается в этой должности в 1850 г. [25, 3348, 44 об.]. В другом случае — в 1853 г. — для А. А. Аполлонова названа та же должность старшего фельдшера госпиталя [25, 3532, 2 об.], т. е. он оставался на этом посту на протяжении всех четырех лет каторги Достоевского.

О близких отношениях между семьями главного лекаря и старшего фельдшера говорит такая деталь: Мария Николаевна Троицкая была в 1850 г. крестной матерью ребенка Аполлоновых [25, 3348, 44 об.]. Близость отношений семей да и долгий срок пребывания в этой должности при Троицком свидетельствуют о доверии главного лекаря к Алексею Аполлоновичу. Все это косвенно подтверждает достоверность информации Мартъянова о хранении рукописей Достоевского у старшего фельдшера.

Молчание Достоевского в «Записках из Мертвого дома» о своих литературных набросках в госпитале понятно. Известно, что Федор Михайлович опасался цензуры, готовя «Записки» к изданию, и стремился избежать ее нападок. При полной откровенности он мог бы подвести людей, которые содействовали ему вопреки служебным запретам. Но дело не только в этом. «Записки из Мертвого дома» — не дневник автора, а обобщающая картина каторжной тюрьмы. Степень их достоверности как исторического источника очень высока; однако Достоевский сознательно не включал в них такие, касавшиеся его лично, детали, которые не соответствовали обстановке, типичной для каторги, и справедливо воспринимались им как исключение.

Благожелательный интерес к судьбе двух литераторов, а возможно, и некоторое содействие им Троицкого можно проследить и после отъезда Достоевского и Дурова из Омска, в период их военной службы. В 1855 г. доктор был в Кокчетаве с ревизией по госпитальной части и, встретив там С. Ф. Дурова, рассказывал ему о стихах Федора Михайловича, о впечатлении, которое они произвели на генерал-губернаторскую чету (Гасфорд представил стихи Достоевского военному министру) [24, 282]. Не исключено, что Иван Иванович способствовал благожелательной реакции начальства: он бывал в генерал-губернаторском доме.

Итак, старший доктор, этот «топором срубленный и лыком шитый» человек [24, 279], рискуя иметь серьезные неприятности в условиях военного госпиталя, давал пристанище и даже некоторую возможность литературной работы политическим узникам. Среди своих подчиненных он мог опереться в этом отношении, по-видимому, не только на старшего фельдшера. Устная традиция Омска сохранила имя одного из фельдшеров, знавшего Достоевского по госпиталю: в 20-е годы нашего века Г. А. Вяткин записал в Омске рассказ о нем престарелого педагога Владимира Александровича Иванова: «В начале 50-х годов прошлого столетия мой отец, Александр Иванович Иванов, служил в Омском военном госпитале фельдшером. В это же время в Омской крепости отбывал каторгу Достоевский, которого нередко приводили под конвоем к отцу, в госпиталь, как пациента». Фельдшер, по словам сына, носил Федору Михайловичу французскую газету «Le nord» от корпусного штаб-доктора Троицкого. А. И. Иванов рассказывал, как писатель страдал, видя наказанных палками «сквозь строй». Когда привозили в госпиталь такого истерзанного человека, Достоевский открывал дверь своей палаты и, весь дрожа, просил: «Детушки, детушки! родные, спасите его..., спасите несчастного...» [35, 179—180].

В осуществлении контактов с Достоевским и Дуровым у Троицкого нашлись помощники не только в госпитале, но и внутри крепостного острога. Это были упоминавшиеся уже нами разжалованные гардемарины, присланные из Петербурга в Омск за несколько дней до того, как туда привезли Достоевского. 28 января 1850 г. А. И. Сулоцкий сообщал С. Я. Знаменскому в Ялуторовск: «К нам приехали 6 человек гардемарин (из Морского

кадетского корпуса) на несколько-то лет в солдаты» [8, 116, 55]. Шесть молодых людей, заканчивавших курс, были обвинены в «неповиновении начальству» и зачислены рядовыми в сибирские линейные батальоны: Павел Брылкин, Семен Левшин, Александр Лихарев, Арсений Калугин, Михаил Хованский и Вильгельм фон Геллесем. Все шестеро принадлежали к старым дворянским фамилиям (Хованский — князь) и привезли с собой рекомендательные письма, открывшие им доступ в омское общество. К тому же разжалованы они были без лишения дворянства и с правом выслуги. Поэтому в ротах своих юноши пробыли недолго, хотя и сошлись с новыми товарищами по службе: солдаты встретили их недружелюбно, как «дворянчиков-белоручек», но, присмотревшись, оценили простоту и отзывчивость «морячков», внушавших уважение к себе еще и отличным знанием строевой службы. Благодаря хлопотам местных покровителей, гардемаринпов зачислили в учебную команду, а затем прикомандировали к военно-топографическому отделению штаба и поручили им практическую съемку в степи у Иртыша. Здесь оказалась хорошая геодезическая подготовка морского корпуса. Удачные результаты съемки привели к тому, что на следующую зиму разжалованных стали уже назначать на службу при батальонах и, в частности, посылать в караул за офицеров [24, 220—257]. Это была зима 1851/52 г. Так случилось, что гардемаринны оказались в роли начальников караула острога, в котором содержался Достоевский.

Тяжелая караульная служба особенно угнетала их нравственно: она оказалась самой трудной из всех обязанностей, которые выпали на их долю в Омске. Тем не менее с некоторых пор «морячки» наперебой стремились к дежурству в остроге.

Был ли кто-нибудь из них знаком с Достоевским или Дуровым в Петербурге? Об этом нам пока ничего неизвестно. Есть лишь сведения о том, что двое из них знали о вечерах у Петрашевского и, по крайней мере, один раз побывали там. Зимой 1848/49 г. ротмистр Морского кадетского корпуса князь В-п, ухаживавший за одной из сестер Павла Брылкина, пригласил его вместе с Михаилом Хованским «заехать в общество избранных молодых людей, известных высшим просвещением и либеральным образом мыслей, где можно весело провести время и сделать хорошее знакомство, которое иметь никому и никог-

да не мешает». Гардемарины были представлены хозяину дома — М. В. Буташевичу-Петрашевскому. «Появление кадетских курточек привлекло общее внимание, их приняли очень ласково, закидали вопросами и старались угостить на славу. Но взаимных представлений никаких не состоялось, все говорили как старые знакомые и расходились, не прощаясь, так что гардемарины возвратились домой, не зная, с кем провели вечер» [24, 239—240]. Фамилия князей Хованских привлекла в эти годы внимание Достоевского — он включил ее в повесть «Неточка Незванова» (князь X-ий — глава семьи, в которой воспитывается героиня).

«Морячки» привяли самое горячее участие в судьбе заключенных литераторов. Возможности их были невелики, но и малое они использовали со всем пылом молодости, вкладывая в организацию помощи много выдумки. Караульный офицер имел право оставить часть арестантов при остроге, отправляя остальных на работы. Заявка об этом делалась накануне, и гардемарины не упускали такие случаи, когда они сменяли друг друга, чтобы дать возможность петрашевцам отдохнуть, услышать в кордегардии новости от дежурного «морячка», почитать принесенные для них книги, письма родственников и друзей. «Обыкновенно известна была очередь смены караулов: так, например, караул от 4-го батальона, с Левциным за начальника, должен был на другой день смениться караулом от 5-го батальона, с князем Хованским за начальника, который, в свою очередь, имел быть сменен караулом от 6-го батальона, с Брылкиным за начальника». Время вызова подопечных в кордегардию выбирали такое, когда начальство не ожидалось [24, 267]. Тем не менее разжалованные гардемарины, заменявшие караульных офицеров, легко могли стать жертвой доноса за такие вольности, доноса, достаточно опасного для их судьбы, поскольку молодые люди сами были под наблюдением. Но корпусной инженер генерал-майор Бориславский, заведовавший всеми работами арестантов, и комендант крепости А. Ф. де Граве не проявляли рвения в разоблачении проделок гардемаринов; лишь призывали их через доктора Троицкого к осторожности.

Недремлющее око ретивых чиновников требовало осторожности не только от юных начальников караула. Бориславский позволил направлять Достоевского в канцелярию инженерного управления для переписывания бумаг.

«Из инженеров были люди (из них особенно один), очень нам симпатизировавшие. Мы ходили, переписывали бумаги, даже почерк наш стал совершенствоваться, как вдруг от высшего начальства последовало немедленное повеление поворотить нас на прежние работы: кто-то уже успел донести! Впрочем, это и хорошо было: канцелярия стала нам обоим очень падоедать». Так рассказал об этом случае Федор Михайлович в «Записках из Мертвого дома» [14, 4, 216]. Доложил корпусному командиру о «несоответствии подобных занятий для людей, сосланных в каторжные работы за политические преступления», полковник А. А. Мартен — дежурный штаб-офицер корпуса. Представление современников о Мартене вполне соответствует его поступку. «Это был человек большого ума и солидных знаний, но эгоист до мозга костей. Он никого не любил и никого не уважал, относился ко всем, даже к старшим по чину и по положению, как-то сурово и высокомерно, по службе был взыскателем и строг, а к некоторым лицам — просто недоброжелателем. Его боялись не только в Омске, но и на далеких окраинах Сибири; говорили, что он „бессердечен по принципу и зол по природе“». Плотный и сухопарый, среднего роста, с белобрысыми, стриженными под гребенку, волосами, торчавшими как щетина, рыжеватыми усами и недобрими, смотревшими одними уголками, глазами, он производил на всех, имевших к нему дело, неприятное впечатление и бравировал этим с усмешкой» [24, 251 и 269—270].

В стремлении искоренить поблажки политическим арестантам полковник Мартен не был одинок — мы видели это уже в связи с дописом на старшего лекаря. Поэтому Ивану Ивановичу Троицкому и нужны были гардемарины. Через «морячков» доктор время от времени сообщал Федору Михайловичу и Дурову, что есть возможности для одного из них прийти в госпиталь на передышку.

Больше других с доктором был связан Павел Брылкин. Мартыянов, рассказывая о поддержке каждого из разжалованных гардемаринов кем-либо из омского общества, в качестве опекуна Брылкина называет Троицкого [24, 253]. Отсюда можно сделать вывод, что, по-видимому, именно Павел был источником сведений о первых главах «Мертвого дома» («как рассказывал одному из юношей И. И. Троицкий...»). Скорее всего Мартыянов пересказывал записи (или дневник) Павла Брылкина. С этим «мо-

рячком» связан и петербургский эпизод посещения Петрашевского, снабженный такими подробностями (ухаживание ротмистра за сестрой Брылкина), которые могли быть получены лишь из первоисточника.

Не желая слишком часто повторять имя Павла Брылкина, записки которого он пересказывает, Мартьянов пишет обычно: «один из морячков», «один из них», «юноша», «птенец» и пр. Сопоставление эпизодов наиболее личного характера обнаруживает, что все они относятся к одному лицу и это лицо — разжалованный гардемарин Брылкин. Так, рассказывая о соперничестве «одного из морячков» с дежурным штаб-офицером корпуса Колычевым, автор упоминает о покровительстве этому гардемарину «генеральши Клейст и княгини Шаховской» [24, 279]. Но обе они были дочерьми Ф. А. Шрамма, благожелательный прием в семье которого (по ходатайству из Петербурга) одного из гардемарин был очень подробно (включая знакомство с замужними дочерьми и введение в их дома) описан в другом месте заметок [24, 252—255]. Соперничество со штабным офицером закончилось удалением не названного Мартьяновым «морячка» из Омска в результате происков влиятельного соперника. Из следующего абзаца текста Мартьянова узнаем, что лишь Брылкин был переведен в 3-й Сибирский линейный батальон, в роту, квартировавшую в степи, в укрепление Кокчетав. Два других уехавших в это время из Омска ссыльных гардемарина были переведены в европейскую часть страны по ходатайству родственников [24, 280—281].

С. Н. Брылкина — подруга сестер Сусловых, с которой Достоевский был знаком после сибирской ссылки [1, 2, 4], возможно, была родственницей омского гардемарина.

При всей доброжелательности молодых петербуржцев к петрашевцам и готовности помочь им, это были не те люди, с которыми Достоевскому хотелось бы установить более глубокие отношения. Федор Михайлович казался гардемаринам (во всяком случае, одному из них, от которого исходила осведомленность Мартьянова) угрюмым, нелюдимым и настороженным. Между тем он мог быть совсем другим в этой же обстановке, мог близко сойтись с человеком за несколько часов общения, выкроенных такими же ухищрениями, какими пользовались гардемариньки. Так случилось при встрече его с Е. И. Якушкиным, о которой речь пойдет ниже. Возможно, к молодым на-

чальникам караула у Достоевского не было и доверия. Состав книг, на которые «с особенною жадностью бросаясь» С. Ф. Дуров («Королева Марго», «Графиня Монсоро», «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Парижские тайны» и «Вечный жид» Э. Сю, «Сын дьявола» Поля Феваля), делает поиятной реакцию Федора Михайловича на предложения «морячков»: «Он отказывался даже от чтения приносимых молодежью книг и только раза два заинтересовался „Давидом Копперфильдом“ да „Замогильными записками Пиквикского клуба“ Диккенса, в переводе Введенского, и брал их в госпиталь для прочтения» [24, 268]. Ведь читать можно было лишь в кордегардии под опекой дежурного гардемарина либо в госпитале. Как только среди принесенных юношами книг попало нечто, интересовавшее его, писатель не замедлил этим воспользоваться. Просьбы свои о книгах он адресовал по другому каналу — о нем речь шла в письмах А. И. Сулоцкого.

Но молодые энтузиасты сыграли свою роль в судьбе Достоевского. Ведь именно один из них (следуя нашей гипотезе — Павел Брылкин) отвратил от Федора Михайловича непосредственную и жуткую опасность. «Немалую услугу оказал Ф. М. Достоевскому также и один из „морячков“. Оставленный однажды для работ в остроге, он находился в своей казарме и лежал на нарах. Вдруг приехал плац-майор Кривцов — этот, описанный в „Записках из Мертвого дома“, зверь в образе человека.

— Что это такое?! — закричал он, увидя Федора Михайловича на нарах. — Почему он не на работе?

— Болен, ваше высокоблагородие, — отвечал находившийся в карауле за начальника „морячок“, сопровождавший плац-майора в камеры острога, — с ним был припадок падучей болезни.

— Вздор! Я знаю, что вы потакаете им!.. В кордегардию его!.. Розог!..

Пока стащили с нар и отвели в кордегардию действительно вдруг заболевшего со страху петрашевца, караульный начальник послал к коменданту ефрейтора с докладом о случившемся. Генерал де Граве тотчас приехал и остановил приготовления к экзекуции, а плац-майору Кривцову сделал публичный выговор и строго подтвердил, чтобы больных арестантов отнюдь не подвергать наказаниям» [24, 270].

Этот тяжелый эпизод из записок П. К. Мартьянова, может быть, и не стоило бы приводить здесь, если бы вопросы об угрозе экзекуции над писателем, о его болезни, о роли коменданта де Граве в тюремной жизни великого каторжанина не обрели довольно устойчивую ошибочную трактовку в комментариях ряда изданий. Попробуем в этом разобраться.

Глава третья

ОШИБКА РИЗЕНКАМПФА

Итак, согласно запискам Мартьянова, именно комендант де Граве, получивший сигнал от возглавлявшего караул гардемарина, не дал осуществиться преступному замыслу майора. У Мартьянова находим и общую характеристику Алексея Федоровича де Граве: «По службе он особенно не выдавался, так как не пользовался особенным благоволением корпусного командира, но дело свое исполнял добросовестно и, по возможности, облегчал положение находившихся в крепостном остроге арестантов» [24, 252].

Все это пока из одного источника. Обратимся к мнению самого Достоевского. «Этот майор,— пишет он о Кривцове,— был какое-то фатальное существо для арестантов, он довел их до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, „бросался на людей“, как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его прощительного, рысего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить! Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если бы не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением» (выделено нами.— М. Г.) [14, 4, 14].

В другом месте «Мертвого дома», вспоминая случай с Жуховским (который упоминался уже на этих страницах в письме А. И. Сулоцкого), Федор Михайлович снова

характеризует коменданта как человека, обуздывавшего Кривцова: «Нам известно было, что комендант, узнав об истории с стариком Ж-ким, очень вознегодовал на майора и внулил ему, чтоб он на будущее время изволил держать руки покороче. Так рассказывали мне все <...> Об истории Ж-го скоро узнал весь город, общее мнение было против майора; многие ему выговаривали, иные даже с неприятностями» [14, 4, 213].

Героев «Мертвого дома» нельзя отождествлять полностью с их прототипами. Но сохранились и другие свидетельства отношения Федора Михайловича к коменданту. В письме к брату — первом после выхода из Омского острога — Достоевский тоже противопоставил де Граве майору Кривцову: «Комендант был человек очень порядочный, но плац-майор Кривцов — каналья каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все, что только можно представить отвратительного <...> Меня бог от него избавил» (выделено нами.— М. Г.) [1, 1, 135].

Жена коменданта — Анна Андреевна де Граве принимала участие в судьбе Достоевского. В период хлопот об устройстве пасынка в Сибирский кадетский корпус она оказалась в числе трех лиц, к которым обратился писатель по этому поводу: «О Паше писал я Ждан-Пушкину <...> потом полковнику Слуцкому, человеку семейному и значительному в Омске, и жене Генерал-Майора де Граве, моей доброй знакомой, женщине благородной и умной. Я просил всех принять в Паше участие: все дали обещание» (выделено нами.— М. Г.) [1, 1, 224]. И в другом письме: «Паша принят; все мои письма о нем в Омск подействовали, да и не могло быть иначе: я писал их благороднейшим людям» [1, 1, 224].

Характеристику жены коменданта встречаем и в записках Мартынова: «Супруга его — женщина простая и скромная, сторонившаяся <...> сближения с наиболее выдающимися личностями омского бомонда, собирала вокруг себя свой небольшой кружок людей, приходивших к комендантской чете запросто...» Там же описано столкновение комендантши с генерал-губернатором, обнаруживающее ее независимый нрав. «На другом балу у него (Горчакова.— М. Г.) вышло недоразумение с супругой коменданта, которая, не поняв особенно любезного обращения к ней кн. Петра Дмитриевича, потрепавшего ее дружески по плечу, совершенно неуместно ответила ему: „Вы, ваше сиятельство, вероятно, ошиблись, приняв меня за такую

особу, которая почитет себя счастливой, получа подобное доказательство вашего внимания, но я, к сожалению, к числу их не принадлежу“» [24, 252 и 271].

Когда в Омск приехал священник С. Я. Знаменский, имевший близкие дружеские отношения с ялуторовской и тобольской группами ссыльных декабристов, и открыл женскую школу с обучением по ланкастерскому методу, Анна Андреевна де Граве стала его активной помощницей в этом деле. В школе было 124 ученицы, и Анна Андреевна проводила там ежедневно многие часы, занимаясь с ними рукоделием. 11 января 1855 г. С. Я. Знаменский писал об этом Ивану Ивановичу Пуцуцу в Ялуторовск [36, 50, 10—10 об.]. Омская школа была прямым продолжением ланкастерских школ, созданных декабристами в Ялуторовске и Тобольске, и потому их живо интересовала. И. Д. Якушкин в письме к Знаменскому в январе 1854 г. тепло отозвался о его помощнице по омской школе [5, 372—373]. Два года спустя после основания школы, в январе 1856 г., Знаменский писал Н. Д. Фонвизиной, что «по рукоделию заведывает и занимается Анна Андреевна де Граве» [37, 17, 39]. В этой же школе «вызвался помогать» по медицинской части в тяжелых случаях доктор И. И. Троицкий (при школе был приют) [36, 50, 10 об.]. Семья коменданта поддерживала добрые отношения с Троицкими: Алексей Федорович де Граве был крестным отцом их сына Алексея [25, 3434, 7 об.].

Круг ближайших знакомых супругов де Граве вырисовывается из разнообразных источников и характеризует их наилучшим образом. В их числе Капустины — семья старшей сестры Д. И. Менделеева, один из самых интересных в Омске домов, опекавший политических ссыльных [25, 3532, 52 об.— 53; 25, 3744, 23 об.]. Комендант был в приятельских отношениях и с доктором кадетского корпуса Я. Т. Крупским, находившимся в 1850—1856 гг. под секретным надзором [24, 252; 2, 19, 69].

Достоевский писал Анне Андреевне де Граве не только в связи с устройством Паши в корпус. Четкое указание на другое, более раннее письмо его из Семипалатинска находим в переписке Чокана Валиханова с писателем. Вернувшись в Омск после семипалатинской встречи с Федором Михайловичем, Валиханов написал ему 5 декабря 1856 г.: «Анне Андреевне я отдал Ваше письмо: она, кажется, очень довольна» [38, 107—108]. Достоевский воспользовался надежной оказией, чтобы письмо избежало

посторонних глаз. Возможно, письма Федора Михайловича к этой благородной и умной, по его характеристике, женщине еще будут найдены, и тогда увереннее можно будет говорить о значении этого омского знакомства для создания в романе «Подросток» образа Анны Андреевны Версиловой, которая представлялась писателю «в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское...» [14, 13, 193]. Строгая и разумная Анна Андреевна Версилова увидена в романе глазами подростка; о жене коменданта де Граве Достоевский слышал рассказы подростка-пасынка Паши, который бывал в ее доме в период учения в Омском кадетском корпусе.

На пути из Семипалатинска в Тверь Федор Михайлович останавливался в Омске, где побывал в нескольких близких ему домах, в том числе в семье де Граве [1, 1, 269].

Диссонансом ко всем изложенным фактам звучит заявление А. Е. Ризенкампа: «Несмотря на предстательство этих лиц и вообще всех врачей, Федор Михайлович, однако, подвергся преследованию со стороны омского коменданта генерал-майора де Граве и ближайшего его сподвижника, тогдашнего плац-майора Кривцова. Последний дошел до того, что воспользовался первым случаем поправления его здоровья и выпискою из госпиталя, чтобы назначить его к исполнению самых унижительных работ вместе с другими арестантами, а вследствие некоторых возражений, он даже подверг его телесному наказанию». Далее Ризенкампф связывает с этим случаем первый, по его мнению, припадок эпилепсии у Достоевского в 1851 г. [39, 100, 1 об. Письмо А. Е. Ризенкампа к А. М. Достоевскому от 16 февраля 1881 г.]

Ложное заявление о коменданте должно было бы насторожить биографов Достоевского, заставить их отнестись недоверчиво и к сообщению об экзекуции над писателем. Как мог бы Федор Михайлович после этого бывать в доме у де Граве, обращаться в его семью с просьбой о Паше, писать теплые слова о нем в письме к Михаилу Михайловичу и в «Записках из Мертвого дома»?

Между тем в комментариях к двухтомнику «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» напечатано (частично) письмо А. Е. Ризенкампа без каких-либо оговорок о давно опубликованных фактах, опровергавших

его содержание. Дискуссионным выглядит там лишь вопрос о начале эпилепсии [22, 406—407]. То же самое повторилось в 86-м томе «Литературного наследия», где письмо Ризенкампа опубликовано в большем объеме и с еще более выраженным доверием к сообщаемым в нем фактам. Л. Р. Ланской в комментарии пишет, что «публикуемое письмо Ризенкампа можно рассматривать как авторитетное свидетельство о страшном преступлении, совершенном самодержавием по отношению к великому писателю» [21, 550].

Действительно ли это свидетельство авторитетно? Комментатор не приводит опровергающих его утверждений самого Федора Михайловича, а также оценок из других достоверных источников. Цитируется лишь фраза из записок Мартьянова и дается сноска на статью Н. Т. Черевина, позиция которого не раскрывается.

Обратимся ко второму источнику. Николай Тимофеевич Черевин во время рассматриваемых событий служил в Омске адъютантом штаба Отдельного сибирского корпуса. В 1853 г. вышел в отставку в чине майора и вернулся в Любимский уезд Ярославской губернии, где у Черевиных было имение; там служил уездным судьей, затем помощником исправника в г. Любиме [40, 2, 684]. В 1888 г. он прислал из Любима письмо в «Русскую старину» с опровержением утверждения о физическом наказании Достоевского, выразительно квалифицируя это утверждение как «чистое вранье». «Г. Кривцов по своей желчности и скверному характеру может быть и в состоянии был бы это сделать, но при таком добрейшем и достойнейшем коменданте, какой был в это время полковник де Граве, никак бы не посмел». Черевин подчеркивает, что известие о таком случае распространилось бы по городу и, в частности, он, по своему служебному положению, не мог бы о нем не знать*. Вспомним в этой связи рассказ Федора Михайловича о реакции омского общества на случай с Жоховским, который быстро стал всем известен.

С опровержением вымысла Ризенкампа выступил в опубликованных в 1912 г. «Воспоминаниях» друг Досто-

* Автограф Черевина с редакторской правкой [26, 39, 355 об.]. Письмо Черевина под названием «Полковник де Граве и Ф. М. Достоевский» было опубликовано с небольшой правкой в «Русской старине» (1889, № 2, с. 318), а не в «Историческом вестнике», как указывает Л. Р. Ланской.

евского Александр Егорович Врангель, подчеркнувший, что и в суровых условиях каторги многое зависело от отношения к каторжникам местного начальства и общества. «Здесь кстати будет опровергнуть некоторые существующие легенды по поводу Федора Михайловича во время его пребывания на каторге. Скажу по совести, что в большинстве случаев отношение и начальства и всего образованного общества к „политическим“ было в то время значительно благодуще и гуманнее. Сибирь во времена государя Николая Павловича была переполнена политическими ссыльными, русскими и поляками; эти „политические“ были все люди образованные, идейные, либеральные, серьезные люди. Отношение же к Ф. М. Достоевскому было полно особого сочувствия. Могу засвидетельствовать со слов самого Ф. М., что ни на каторге, ни в бытность его бессрочным солдатом его никогда никто из начальства или товарищей каторжников, или солдат — пальцем не тронул, и все появлявшееся об этом в печати — несомненно вымысел. Как часто мне приходилось слышать предположения, что телесные-то наказания будто бы и довели Ф. М. до припадков, и эта легенда так и осталась в умах многих» [29, 14].

В 1923 г. В. Е. Чешихин-Ветринский очень легко разделился с этим опровержением, заметив, что «утверждения Врангеля, со слов самого Достоевского, что его в каторге начальство не трогало, может быть, и не вполне доказательно» [41, 71]. Не потому ли современные комментаторы совсем не упоминают о свидетельстве А. Е. Врангеля?

Александр Егорович Врангель приехал в Омск в конце ноября 1854 г., когда Достоевского там уже не было. Но в Омске по свежим следам он услышал рассказы о пребывании писателя на каторге от друзей Федора Михайловича, принимавших живейшее участие в повседневных событиях его арестантских лет: Ольги Ивановны, дочери декабриста И. А. Анненкова, и ее мужа К. И. Иванова. Перед приездом же в Омск А. Е. Врангель побывал у декабристов в Ялуторовске и Тобольске, где живо интересовались судьбой Достоевского и Дурова. Врангель не был при этом случайным слушателем рассказов о Достоевском. Он специально интересовался его делами, так как в Петербурге был хорошо знаком с Михаилом Михайловичем Достоевским и, уезжая в Сибирь служить, взял

от него письмо, книги, белье и деньги для передачи брату; вез он и письмо от А. Н. Майкова [29, 11—13].

Итак, ни А. И. Сулоцкий, детально информировавший Фонвизиных о Дурове и Достоевском, навещавший петрашевцев в госпитале, снабжавший их книгами и знакомый с главным врачом И. И. Троицким, ни гардемарины, подвизавшиеся в карауле острога и давшие информацию П. К. Мартьянову, ни Ивановы-Анненковы, жившие в Омске и опекавшие писателя, ни Н. Т. Черевин, служивший в это время в Омске, — никто не знал о факте, сообщенном Ризенкампом. Мог ли последний оказаться более всех осведомленным?

С письмом к брату Федора Михайловича Андрею А. Е. Ризенкампом обратился после смерти Достоевского, 16 февраля 1881 г. Он жил в это время в Пятигорске. В письме подчеркивал дружеские отношения с обоими старшими братьями и осведомленность свою в различных событиях из жизни Достоевского. Мы не рассматриваем здесь степень информированности Ризенкампа о жизни Федора Михайловича с 1837 г., когда они познакомились, до 1845 г., когда Ризенкампф уехал в Сибирь. Обратимся к сибирской части его сведений.

Прежде всего бросается в глаза нарочитая неточность информатора в датах, связанных с его собственной службой в Омске: «...затем в 1845-м году я уехал в Сибирь, где служил попеременно в Иркутске, Нерчинске и наконец в Омском военном госпитале, в котором Федор Михайлович помещался вместе с Дуровым (он страдал костоедой и после падучей болезнью). В Омске в нем принимали самое теплое участие бывший штаб-доктор Отд[ельного] Сиб[ирского] корпуса И. И. Троицкий и бывший товарищ по Инженерной службе подполковник Мусселиус» [39, 100, 1—1 об.; 21, 549].

Как видим, фраза составлена Ризенкампом так, что заставляет воспринимать его как непосредственного свидетеля событий. Между тем уже из показаний самого доктора, изложенных в следующем письме А. М. Достоевскому (к нему мы обратимся ниже), выясняется, что А. Е. Ризенкампф не служил в Омске во время пребывания там Федора Михайловича. Свидетельство Ризенкампа — вымысел, оборачивающийся злой клеветой в силу характера вымышленных фактов.

Фраза о свидетелях в тексте письма столь же нарочито неопределенна, как и формулировка о сроках его служ-

бы: «Вы не представляете себе ужаса друзей покойного, бывших свидетелями, как, вследствие экзекуции, в присутствии личного его врага Кривцова, Федор Михайлович, при его нервном темпераменте, при его самолюбии, в 1851-ом году в первый раз поражен был припадком эпилепсии, повторявшимся после того ежемесячно» [39, 100, 1 об.; 21, 549]. Так свидетелями чего были друзья — припадка эпилепсии? И кто — эти друзья?

В последней части письма Ризенкампф высказывает Андрею Михайловичу соображения о неточности некоторых опубликованных фактов из раннего периода жизни Достоевского и задает вопросы о событиях, ему самому плохо известных. В их числе вопросы о дате смерти первой жены Достоевского, о сроках второго брака. Неосведомленность его поразительна — колебания в предполагаемых им датах в несколько лет [39, 100, 2 об.].

А. М. Достоевский отнесся с доверием к сибирскому свидетельству Ризенкампфа. В распоряжении младшего брата не было всей информации о жизни на каторге Федора Михайловича, которой располагают сейчас исследователи. По-видимому, сыграло роль и то, что Ризенкампф поддерживал позицию Андрея Михайловича, отрицавшего начало эпилепсии у брата до Сибири. А. М. Достоевский опубликовал отрывки из письма пятигорского корреспондента в своей статье в «Новом времени» 1 марта 1881 г. и сообщил об этом Ризенкампфу.

В ответ последовало второе письмо доктора Андрею Михайловичу. Из текста его видно, что Ризенкампф несколько смущен таким прямым использованием его информации. «Конечно,— пишет он,— это дело редакции, если она разных „де Граве“ и „Кривцовых“ решила бить не в бровь, а прямо в глаза», но сам он предпочитает аллегорию — следуют французские цитаты, ссылка на приемы М. Е. Салтыкова-Щедрина и, наконец, латинская пословица «*De mortuis aut bene aut nihil*»; особенно неуместная в устах человека, поставившего на одну доску де Граве и Кривцова! [39, 100, 3]. Далее Ризенкампф переходит к сведениям доктора С. Д. Яновского, который знал Федора Михайловича в молодости, лечил его в 1846—1849 гг. и полагал, что у писателя уже тогда проявлялись ранние симптомы эпилепсии. В связи с опубликованным письмом Яновского Ризенкампф «сначала подумал, что по преклонности лет (как доказывает весь слог и склад его письма) он многое по-

забыл и перепутал. Старости это извинительно». Яновскому в это время было 64 года, Ризенкампфу — 60! «Впрочем, — продолжает он, — может быть и его оправдать можно: дело в том, что покойный Федор Михайлович любил иногда скрывать именно перед близкими свои педуги и свои денежные затруднения» [39, 100, 3 об.; 21, 550] *.

Следующая затем часть письма наиболее существенна для оценки достоверности сведений Ризенкампфа об омской каторге Достоевского. Доктор сообщает, что в 1848 г. он был назначен управляющим Нерчинским главным гарнизонным госпиталем и его отделениями. «Здесь у меня пользовались в 1849 г. Петрашевский, Григорьев, Львов (Момбелли и Спешнев находились в Кутомарском заводе)». Заметим попутно, что петрашевцы прибыли в Восточную Сибирь лишь в 1850 г. Но это деталь. Для нашей задачи важно не это. Отметив протекцию декабристов и благожелательное отношение горного начальства к петрашевцам в Восточной Сибири, Ризенкампф противопоставляет их положению участь омских каторжан. «Не так было с Федором Михайловичем и Дуровым, которых я увидел в 1851 году при проезде через Омск, о чем я и сообщил штаб-доктору Ив. Ив. Троицкому. Этот благородный человек им посылал обед и ужин со своего стола; с глубоким состраданием он говорил мне: „Жаль, жаль Достоевского! дошло до того, что он у нас нажил падучую болезнь!“. Впоследствии во время службы моей

* О том, что значил для Достоевского С. Д. Яновский в определенном периоде его жизни, известно из писем писателя 70-х годов. 4 февраля 1872 г. Федор Михайлович писал ему: «Многоуважаемый и незабвенный Степац Дмитриевич, как я рад, что, наконец, знаю, куда Вам написать <...> Ведь Вы один из „забвенных“, один из тех, которые резко отозвались в моей жизни и с именем Вашим связаны мои воспоминания». И в конце письма снова об этом же: «Не покидайте меня, дорогой незабвенный друг. Ведь Вы мой благодетель. Вы любили меня и возились со мною, с большой душевною болезнию (ведь я теперь сознаю это) до моей поездки в Сибирь, где я вылечился» [1, 3, 22—23]. Об устойчивости этой оценки Яновского писателем говорит письмо от 17 декабря 1877 г.: «...я Вас всегда глубоко уважал и искренно любил. А когда думаю о давнопрошедшем и припоминаю юность мою, то Ваш любящий и милый лик всегда встает в воспоминаниях моих и я чувствую, что Вы воистину были один из тех немногих, которые меня любили и извиняли и которым я был предан прямо и просто всем сердцем и безо всякой подспудной мысли» [1, 3, 284].

при Омском госпитале, он мне не раз повторял эти слова, вспоминая о бесчеловечных поступках с Федором Михайловичем и удивляясь контрасту между тогдашним Западно-Сибирским и гуманным управлением графа Муравьева» [39, 100, 4—4 об.; 21, 551].

Так из второго письма Ризенкампфа выясняется, что во время отбывания Достоевским каторги доктор был в Омске лишь проездом. Думаем, что для Андрея Михайловича это было неожиданностью, но статья его была уже опубликована. Двусмысленная неопределенность формулировок Ризенкампфа сохраняется и во втором письме: о чем он сообщил Троицкому? О своей встрече с петрашевцами в Омске? Значит, не Троицкий устраивал встречу; тогда кто же? Других имен нет. Или Ризенкампф сообщил штаб-доктору о самом факте пребывания двух литераторов в остроге, после чего Иван Иванович и стал опекать их? Но мы знаем из писем А. И. Сулоцкого, что Троицкий был в курсе дел с первых же дней по приезде Достоевского и Дурова в Омск (к нему обратился Ждан-Пушкин), а Ризенкампф проезжал лишь в 1851 г. Если бы даже никто не обращался к Троицкому, он не мог не знать о петрашевцах, будучи главным врачом госпиталя, где лечились арестанты.

Мы не рассматриваем здесь вопрос о сроках начала заболевания эпилепсией — это вопрос медицинской компетенции. Сам Достоевский по-разному высказывался на этот счет, говоря в одном случае, что падухая началась в остроге; в другом — что началась раньше, а на каторге усилилась; в третьем — что развилась от расстройства нервов [1, 4, 265; 1, 1, 137; 29, 37]*. Понятен в этом

* После опубликования свидетельств Яновского и Ризенкампфа племянница Ф. М. Достоевского — Е. А. Рыкачева (дочь Андрея Михайловича) обратилась к Анне Григорьевне за разъяснениями по спорному вопросу. «Я спросила ее, не знает ли она и не говорил ли ей дядя, отчего у него сделался первый припадок. Она говорит, что дядя всегда говорил, что падухую он получил в Сибири (причем Анна Григорьевна тоже верит и сообщению Яновского, что болезнь эта появилась в 47 году, но что дяде, как человеку мнительному, не называли ее), и всегда выставлял причиною болезни свой страстный темперамент, который в течение 4-х лет каторги ни разу не мог быть удовлетворен, вследствие страха быть наказанным розгами. Я бы менее всего ожидала подобного объяснения, но оказывается, что подобное же объяснение дядя дал и М-ме Абазе, с которою Анна Григорьевна виделась вчера; мне даже сдается, что не от нее ли Анна Григорьевна узнала этот мотив и что сама она не знала даже и этого. Когда

плане спор двух докторов — Яновского и Ризенкампфа — считать ли началом эпилепсии некоторые нервные явления досибирского периода. Несомненно, что каторга не могла не способствовать развитию такого заболевания.

Но со всей определенностью можно вынести решение по другому вопросу: Федор Михайлович не подвергался телесному наказанию. Об этом говорят разнотипные свидетельства. Источник, служащий основанием для противоположного утверждения, — письмо А. Е. Ризенкампфа А. М. Достоевскому — не выдерживает критики.

Глава четвертая

ДОЧЬ ДЕКАБРИСТА

Ольга Анненкова родилась в Сибири. Ее отец, Иван Александрович, поручик Кавалергардского полка, член декабристского Северного общества, был присужден к двадцати годам каторги. Мать, Прасковья Егоровна (Pauline Gueuble в девичестве), приехала к нему в Читу в феврале 1828 г. У Анненковых было шестеро детей (не считая умерших в младенчестве). Вторая дочь, Ольга, родилась 19 мая 1830 г. [43, 17, 1 об.— 2; 40, 1, 64]. Ей было несколько месяцев, когда декабристов переводили из Читы в Петровский завод. «Мудрено тебе вообразить, — писал И. И. Пущин Н. А. Бестужеву в сентябре 1854 г. из Ялуторовска, — что Оленька, которую грудным ребенком везли из Читы в Петровское, теперь женщина 24 лет — очень милая и добрая» [44, 272].

Оленька Анненкова помнила и тюрьму, и суровую жизнь в селе Бельском — первые два года после выхода из каторги на поселение [45, 201]. Но теплое и заботливое отношение друзей родителей сопровождало ее на всем трудном пути детства. Больше возможностей открылось перед девочкой после переезда семьи в Западную Сибирь, в Туринск. «Дочь их (Анненковых. — М. Г.),

я ей дала прочесть Вашу выписку из письма Ризенкампфа, то она даже отвергла факт, что дядя подвергнут был телесному наказанию, по крайней мере, она этого не знала» (Письмо Е. А. Рыкачевой к А. М. и Д. И. Достоевским [42, 1, 303]).

прелестное девятилетнее дитя, почти ежедневно приходит к нам брать у меня урок музыки, а у матушки — французского языка. Она такая кроткая и приветливая, такая рассудительная, что видеть ее и заниматься с нею одно удовольствие...» (Письмо К. П. Ивашевой родственникам [46, 230].

С 1839 г. И. А. Анненкову было разрешено служить (канцеляристом 4-го разряда в земском суде), а в 1841 г. семья переехала в Тобольск. Сыновья Анненковых учились здесь в гимназии, дочери получали домашнее образование. В доме Анненковых любила собираться молодежь. Ольга подружилась с Машей Францевой и вместе с нею помогала старшим в делах женских ланкастерских училищ [3, 5, 406; 5, 358]. Сдержанная и отзывчивая девушка пользовалась доверием и старших женщин, особенно сблизилась с Наталией Дмитриевной Фонвизиной.

Ольге Ивановне не исполнилось еще двадцати лет, когда в январе 1850 г. в Тобольск привезли под конвоем петрашевцев. Вместе со своей матерью и другими женами декабристов она оказалась в числе тех, кто поддержал Достоевского в первые дни сибирской неволи. Об этой поддержке Федор Михайлович горячо писал брату в первом (после каторги) письме, описывая дни, проведенные в Тобольском остроге: «Скажу только, что участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас. Ссылные старого времени (т. е. не они, а жены их) заботились об нас как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке, не взявши даже своего платья, раскаялся в этом (...) мне даже прислали платья» [1, 1, 135]. И позднее уже в «Записках из Мертвого дома» — еще об этом: «При вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собою было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата» [14, 4, 67].

Известно, что Достоевский сохранял это Евангелие всю жизнь, читал в день смерти и передал сыну. Расска-

зывая о последних часах мужа, Анна Григорьевна Достоевская назвала в своих воспоминаниях Ольгу Ивановну Анненкову и ее мать в числе тех, с кем виделся Федор Михайлович в Тобольске [32, 270]. Участие Ольги и Прасковьи Егоровны Анненковых в тобольской помощи Достоевскому отмечал и А. Е. Врангель [29, 13].

«Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь, вы и все превосходное семейство ваше брали и во мне и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного, утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду». Так написал Федор Михайлович старшей Анненковой в октябре 1855 г. из Семипалатинска [1, 4, 162].

Жизнь самих Анненковых в тобольской ссылке была далеко не безмятежна, хотя внешне более благополучна по сравнению с их первым сибирским десятилетием. Вскоре после прибытия петрашевцев они пережили волнения и неприятности, связанные с поездкой Ольги в Ялуторовск, когда власти заставили их остро ощутить бесправное положение даже второго поколения семей декабристов. К этому времени И. А. Анненков занимал должность коллежского регистратора. 23 сентября 1850 г. ему был вручен пакет от тобольского гражданского губернатора К. Ф. Энгельке под грифом «секретно» [43, 16, 4—5 об.].

«Милостивый Государь, Иван Александрович!

Приложенное при сем письмо к Вашей дочери, Ольге Ивановне, покорнейше прошу вручить ей и принять уверение в моем совершенном к Вам почтении.

Карл Энгельке».

«Милостивая Государыня, Ольга Ивановна!

По предписанию Его Сиятельства, Г. Генерал-Губернатора Западной Сибири покорнейше прошу отозваться мне: на каком основании Вы изволили отлучаться из Тобольска в Ялуторовск, не спросив на то разрешения начальства и, как только такое разрешение дается только по особому уважительным причинам, то с какою целью эта поездка предпринята была Вами и с кем именно?

Ответ Ваш не угодно ли будет доставить ко мне с надписью секретно, в собственные руки.

Примите Милостивая Государыня уверение в моем к Вам почтении.

Карл Энгельке».

Вежливость Энгельке не скрывала полицейского характера запроса. Ольга Анненкова не ответила губернатору. Вместо нее ответил отец. Он сухо объяснил, что ознакомился с письмом к дочери и не передал его. «Дочь моя не могла бы сама собою без моего пособия отвечать на вопросы Вашего Превосходительства потому, что не поняла бы официального слога Вашего письма и причин, по которым местное Начальство признает нужным лишать ее свободы, предоставленной всем и на основании общих законоположений. Чтоб сделать их понятными для нее, понадобилось бы объяснить ей мое положение и коснуться нескольких политических событий, имевших влияние на мою жизнь, которые к несчастью отражаются теперь и на ней, невинной жертве, что я желал всегда избежать <...> Она отлучалась из Тобольска для прогулки с дозволения своей матери, ездила в Ялуторовск без всякой политической цели, могу Вас уверить в том, единственно для развлечения, в обществе Г^нМуравьевой и Фон-Визиной, которые пригласили ее с собою» [43, 16, 6—6 об.].

Тобольская и ялуторовская колонии декабристов, связанные теснейшими дружескими узами, постоянно спосились между собою, используя неофициальные каналы для передачи писем, книг, посылок. Для властей поездка трех женщин была не только нарушением режима ссыльных, но и нежелательным контактом с ялуторовскими декабристами. Разумеется, Ольга участвовала в этом, как и в посещении петрашевцев в тюрьме, с полным сознанием всех обстоятельств.

Вскоре выяснилось, что генерал-губернатор Западной Сибири князь П. Д. Горчаков донес в Петербург о поездке в Ялуторовск. В начале этого года Наталия Дмитриевна Фонвизина обратилась к Горчакову с просьбой о смягчении положения Достоевского и Дурова; она надеялась тогда еще на добрые отношения, сложившиеся ранее у Фонвизиных с семьей генерал-губернатора (жена его приходилась Фонвизиной родственницей). Но тут разыгралась история с делом о наследстве, решенным Францевым не в пользу князя. В этом процессе Горчаков выступал против собственных дочерей, которые, потеряв недавно мать, сохраняли теплые отношения с Наталией

Дмитриевой [3, 6, 627]. Раздраженный генерал-губернатор занял сугубо официальную позицию в отношении тобольских декабристов.

«Вследствие отношения к Г^{ну} Шефу Корпуса жандармов Г. Генерал-губернатору Западной Сибири, — писал в ноябре 1850 г. Энгельке, обращаясь снова к И. А. Аппенкову, — которым он доводил до сведения графа Орлова о поездке Г^н фон Визиной, Муравьевой и Вашей дочери Ольги в Ялуторовск, Г. Управляющий III^м отделением собственной Его Величества канцелярии, от 12 минувшего октября за № 2087, сообщил Его Сиятельству князю Петру Дмитриевичу, что обстоятельство это за отсутствием графа Алексея Федоровича представлено было на усмотрение Г. Военного Министра и Его Светлость, признав фон-Визину, Муравьеву и Вашу дочь виноватыми в самовольной отлучке с места жительства, изволили приказать сделать им за их неуместный поступок строгое внушение.

Будучи сам поставлен в известность предписанием Г. Генерал-Губернатора от 5 сего ноября за № 136, я покорнейше прошу Вас объявить о таком отзыве Г. Военного Министра дочери Вашей и об исполнении мне письменно донести» [43, 16, 11—11 об.].

Наверху сочли усердие Горчакова излишним и ограничились внушением. Но генерал-губернатор и тобольский полицмейстер не унялись и продолжали еще некоторое время изводить тобольскую колонию ограничениями и придирками. В письме к С. Я. Знаменскому в Ялуторовск Фонвизина писала: «Теперь ты знаешь уже, что ялуторовская поездка произвела кутерьму, которая имела важные для всех нас последствия, так что вызвала меня на крайние меры. Но князь не унялся, несмотря на уведомление мое, что просила и жду правил из Петербурга, он собрал откуда-то и присочинил свои правила, где называет нас женами государственных преступников и еще ссыльно-каторжных, тогда как недавно, по предписанию из Петербурга, с наших брали подписки, чтобы им не называться так, а состоящими под надзором полиции для неслужащих, а для служащих по чину или месту, занимаемому в службе, вследствие чего и сам князь в предписании губернатору о запрещении мне ехать на воды величает меня супругою состоящего под надзором полиции. Эту бумагу его с прочими документами я отправила к графу Орлову. Теперь вздумал браниться, я ду-

маю, для того и правила выдал, чтобы при чтении их полицмейстер бранил нас в глаза. Я не допустила его себе читать, именно потому, что ожидала какого-нибудь ответа на мое послание в С.-Петербург. Но что всего милее, хотели с нас брать подписки, что будем исполнять по правилам; а полицмейстер ужасная дрянь, так настроен, что следит всюду, а за город и выпускать нас не велено» [47, 232—233]. Такова была обстановка в Тобольске в поябре 1850 г. по характеристике Фонвизиной.

Конфликт с генерал-губернатором исключил возможность существенно повлиять на положение петрашевцев в Омске через высшую местную власть. Оставался путь конкретной повседневной помощи и опеки; на который и встали семьи декабристов и их друзья. Для Ольги Анпенковой продолжение знакомства, начавшегося в Тобольской пересыльной тюрьме, сначала выразилось лишь в чтении и обсуждении романа Достоевского: в марте 1851 г. она вместе с Фонвизиной читала «Бедных людей». Книгу прислал Наталии Дмитриевне С. Я. Знаменский [47, 240]. Но вскоре для Ольги Ивановны представилась возможность подключиться к помощи петрашевцам непосредственно в Омске. «После пасхи ожидаю опять новобрачных: Оленька Анпенкова выходит замуж за омского инженерного офицера Иванова, после свадьбы обещают заехать в дом Бронникова, — а хозяину дома это и любо», — писал И. И. Пущин Г. С. Батенькову из Ялуторовска 5 марта 1851 г. [44, 247].

Константин Иванович Иванов — человек, который в ужасные для Достоевского годы был для него «как брат родной» [1, 1, 137], а после смерти писателя в течение нескольких лет служил для близких Федора Михайловича и его биографов живым источником информации об омском периоде, несомненно заслуживает внимания. Между тем указание на его должность (иногда — с ошибкой) и брак с О. И. Анпенковой — это почти все, чем располагает литература. Попытаемся в какой-то мере восполнить этот пробел.

Начнем с того существенного факта, что Константин Иванович был однокашником Достоевского по инженерному корпусу; в 1844 г. он закончил нижний офицерский класс с чином прапорщика и был направлен в полевые инженеры [18, 104]. Учась на смежных курсах, Достоевский и Иванов, разумеется, были знакомы. Фраза в «Записках из Мертвого дома» о служивших «в том городе»

знакомых и «даже давнишних школьных товарищах», с которыми автор возобновил «сношения», имеет прямое отношение к Иванову [14, 4, 229].

Когда Достоевского привезли в Омск, Иванов, военный инженер в чине подпоручика, служил там адъютантом генерал-майора Бориславского — начальника инженеров Отдельного сибирского корпуса. В журналах (протоколах) Совета Главного управления Западной Сибири встречается ряд документов, позволяющих представить характер службы Константина Ивановича. В связи со строительством или ремонтом казенных зданий военного ведомства его нередко командировали во многие города Западной Сибири (Тобольск, Тюмень и др.) для инспектирования, разработки строительных смет и с прочими целями. Представляемые им рапорты содержали конкретные технические предложения по строительству и ремонту, в которых сочеталась хорошая профессиональная подготовка с четким и безупречно честным (злоупотреблений в этой области в Сибири было немало) подходом к делу [27, 2125, 399 об.— 403 и 629; 27, 2125, 771].

Частые и длительные поездки, особенно в Тобольск, сделали возможным развитие знакомств Константина Иванова с декабристами. Молодой инженер органично вошел в их круг. Об этом свидетельствуют, в частности, его контакты с И. И. Пуциным. Он бывал у Пуцина в Ялуторовске и без Ольги Ивановны [44, 272], а уехав из Сибири, переписывался с Иваном Ивановичем. («Опять пришла почта, принесла одно только письмо от Константина Ивановича из Кронштадта <...> Кронштадт Иванов укрепляет неутомимо — говорит, что три месяца работает как никогда. Иногда едва успеваешь пообедать», — писал И. И. Пуцин Н. Д. Фовизиной в марте 1856 г. [44, 300—301].) Сохранились письма К. И. Иванова к декабристу П. Н. Свистуну 1857 г., наполненные заботами декабристской «артели» о вернувшихся из Сибири семьях ссыльных [48, 26, 1—4 об.].

В ведении начальника инженерной команды Бориславского состояли и арестантские работы. В качестве его адъютанта Константин Иванович мог в некоторой степени влиять на выбор работ, в которые назначали петрашевцев, а в исключительных случаях даже организовывать их встречи вне острога под предлогом фиктивных поручений. Именно так была устроена встреча Достоевского с Е. И. Якушкиным.

Рассказывая в «Записках из Мертвого дома» о том, как они с поляком Богуславским ходили в течение трех месяцев из острога в инженерную канцелярию в качестве писарей, писатель заметил: «Из инженеров были люди (из них особенно один), очень нам симпатизировавшие» [14, 4, 216]. 22 февраля 1854 г. Достоевский написал Михаилу Михайловичу слова, которые могут служить ключом к оценке омских контактов писателя. Эти слова связаны с именем Константина Ивановича: «Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно. К. И. И[вано]в был мне как брат родной. Он сделал для меня все, что мог. Я должен ему деньги. Если он будет в Петербурге, благодари его. Я должен ему рублей 25 серебром. Но чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость как о родном брате. И не один он! Брат, на свете очень много благородных людей» [1, 1, 137]. Последняя пылкая фраза в устах человека замкнутого, отнюдь не склонного к восторженным излияниям, написанная через неделю после выхода из каторжной тюрьмы,— поистине знаменательна.

Когда молодожены Ивановы приехали в Омск, князь Горчаков был уже смещен с поста генерал-губернатора [47, 240]. Его сменил генерал Г. Х. Гасфорд. Перемещения, сопутствовавшие появлению нового корпусного командира, не коснулись Бориславского и де Граве. Зато, к общему удовольствию, был уволен со службы и предан суду плац-майор Кривцов [24, 278].

Ольга Ивановна сохраняла в Омске тесную связь с оставленными в Тобольске друзьями. В письмах к Фон-визиной делилась своими настроениями, извещала о местных новостях, существенных для декабристов [37, 26, 1—8]. Мнение, которое сложилось о ней за три года самостоятельной жизни в Омске, выразил А. Е. Врангель, познакомившийся с дочерью Анненкова в 1854 г.: «Г-жа Иванова была чудная, добрая женщина, высокообразованная, защитница несчастных, особенно политических». Декабристам удалось, видимо, многого добиться в воспитании Ольги, рожденной и выросшей в Сибири. Сказав о начале знакомства ее с Достоевским в Тобольске, Врангель пишет далее: «Продолжала она свои заботы о нем и в Омске, чем во многом облегчила его пребывание на каторге. Когда я в 1856 г. возвращался в Петербург, то Федор Михайлович горячо поручал мне побывать у нее

и поблагодарить за все добро, оказанное ему, что я и сделал» [29, 13].

До нас дошли оценки Ольги Ивановны и самим Достоевским. В письме брату Михаилу читаем: «Впрочем, К[онстанти]н И[ванович] будет сам в Петербурге — в этом году; он тебе все расскажет. Что за семейство у него! Какая жена! Это молодая дама, дочь декабриста Анненкова. Что за сердце, что за душа, и сколько они вытерпели!» [1, 1, 139]. Это было написано в феврале 1854 г., а в октябре 1855 г. Федор Михайлович подтвердил, что знакомство с Ольгой Ивановной «будет всегда одним из лучших воспоминаний» его жизни [1, 1, 162].

Через Ивановых шла неофициальная переписка писателя [1, 1, 139]. По обстоятельствам встречи Достоевского с Е. И. Якушкиным в 1853 г. (о них речь пойдет в седьмой главе), можно предположить, что Федор Михайлович бывал в доме Ивановых в период заключения. В Омск во время каторги Достоевского приезжала Прасковья Егоровна Анненкова и встречалась с ним — об этом писатель четко говорит в письме к ней от 18 октября 1855 г. [1, 1, 162]. Где была устроена эта встреча — неизвестно. Но по омским метрическим книгам нам удалось установить срок и причину приезда жены декабриста в Омск.

Среди записей о крещении детей в омском Воскресенском соборе за 1853 г. есть одна особенно примечательная, насыщенная исторической информацией: у старшего адъютанта, полевого инженер-поручика Константина Ивановича Иванова и его жены Ольги Ивановны 30 марта родилась дочь Наталия; крестили ее 16 апреля 1853 г. Восприемниками при крещении были: «заседатель Тобольского приказа общественного призрения, губернский секретарь Иван Александров Анненков и жена государственного преступника Наталия Дмитриева Фонвизина, полевой инженер-полковник Иван Иванов Иванов и жена губернского секретаря Анненкова Параскева Егорова». Крестил протоиерей Д. С. Пономарев [25, 3532, 15 об.— 16].

У Ольги Анненковой, родившейся в Сибири, первый ребенок тоже родился в Сибири. Это было третье поколение в семьях декабристов, к тому же дочь всеобщей любимицы Оленьки. Тобольская колония не могла не откликнуться на это событие. Дедушка с бабушкой и Н. Д. Фонвизина приехали в Омск, по-видимому, неле-

гально. Во всяком случае нам нигде больше не встретилось упоминание об этой поездке Анненковых и Наталии Дмитриевны. Ожидая их, крестины отложили на семнадцатый день. Нелегальный характер поездки и был, вероятно, причиной того, что Достоевский так глухо упомянул в письме свою омскую встречу с Прасковьей Егоровной (осторожность в таких случаях соблюдалась даже в письмах, передаваемых с оказией), состоявшуюся в апреле 1853 г. На молчание Д. С. Попомарева, сделавшего запись в метрической книге, декабристы могли рассчитывать.

Жесткая формула перед именем Фонвизиной — «жена государственного преступника» — отражает официальное положение Наталии Дмитриевны и напоминает нам о том, в какой трудной обстановке действовали семьи декабристов в Сибири — при всех своих аристократических связях.

После выхода из острога перед отправкой солдатами в войские части Федор Михайлович и Дуров провели почти месяц в доме Константина Ивановича [1, 1, 162; 4, 95]. Это был месяц не только доброго гостеприимства, но и интересных знакомств (именно там начались, в частности, отношения Достоевского с Ч. Ч. Валихановым), потока информации, интенсивного чтения свежих журналов и газет, получения и заказа «с оказией» литературы; первых после каторги писем к родственникам и друзьям, отправленных по внецензурным каналам. «Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и об нем никому ни полслова,— писал в эти дни Достоевский брату Михаилу.— Впрочем я пошлю тебе письмо и официальное, через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это — при первом удобном случае». И вторично в конце письма подчеркнул его секретность [1, 1, 133 и 140].

Дому Ивановых-Анненковых посчастливилось: великий писатель провел в нем удивительные дни, исполненные глубокого значения. Выход на свободу (хотя и относительную) создавал особое настроение: итоги пережитого за четыре страшных года, продуманного, прочувствованного, дальние и ближние планы, предчувствие перемен, обостренное восприятие нахлынувших за стенами острога впечатлений. Ведь именно в эти дни он выразил Михаилу существенное о себе: «Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, припело свои плоды. У меня теперь много потребностей и

надежд таких, об которых я и не думал». Или: «Вся будущность моя, и все, что я сделаю, у меня как перед глазами» [1, 1, 137 и 178].

И в эти же дни — Наталии Дмитриевне Фонвизиной: «Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное» [1, 1, 143].

В доме Ивановых Достоевский составлял программу чтения — она видна из заказываемых Михаилу Михайловичу книг: историки древние и новые (Вико, Гизо, Тьерри, Тьер, Ранке и др.); экономисты; отцы церкви и историки церкви; коран; «Критика чистого разума» Канта, труды Гегеля (особенно история философий); «Отечественные записки» и другие журналы; немецкий лексикон. А какими страстными призывами сопровождаются просьбы о книгах! «Но знай, брат, что книги — это жизнь, пища моя, моя будущность! Не оставь же меня, ради господ бога. Пожалуйства, спроси разрешения, можно ли будет тебе послать мне книг официально. Впрочем осторожнее. Если можно официально, то высылай. Если же нет, то через брата К[онстантина] И[вановича], на его же имя; мне перешлют». Здесь же переживал первые впечатления от новых авторов, появившихся в литературе в эти годы: «Островский мне не нравится, Писемского я совсем не читал, от Дружинина тошнит. Евгения Тур привела меня в восторг. Крестовский тоже нравится <...> Кто такой Чернов, написавший „Двойник“ в 50 году?» [1, 1, 138—140].

О своих литературных замыслах Федор Михайлович написал в этом письме лишь в общей форме — о том, что твердо намерен писать и в будущем жить литературным трудом. Но есть основания думать, что уже в это время им владели вполне конкретные замыслы.

В февральские дни 1854 г. окончательно сложился для Достоевского образ хозяйки дома. Через полтора года он сформулировал это в письме к ее матери: «Вы поймете, какое впечатление должно было оставить такое семейство на человека, который уже четыре года, по выражению моих прежних товарищей каторжных, был как ломоть отрезанный, как в землю закопанный. Ольга Ива-

новна протянула мне руку, как родная сестра, и впечатление этой прекрасной, чистой души, возвышенной и благородной, останется светлым и ясным на всю мою жизнь. Дай бог ей много, много счастья, — счастья в ней самой и счастья в тех, кто ей милы. Мне кажется, что такие прекрасные души, как ее, должны быть счастливы; несчастны только злые. Мне кажется, что счастье — в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли? Я уверен, что вы это глубоко понимаете, и потому так вам и пишу» [1, 1, 162]*.

Достоевский уехал из Омска в Семипалатинск в марте 1854 г. А в конце этого года Ивановы переехали в Петербург, куда Константин Иванович был переведен по службе. Но связь сохранялась и прошла через всю жизнь писателя, хотя о пей мало известно. Еще до отъезда своего, в Омске, Константин Иванович ходатайствовал (вместе с какими-то другими лицами) о том, чтобы солдату-петрашевцу разрешили жить в Семипалатинске не в казарме, а отдельно, в частном доме. Это чрезвычайно важное для Достоевского ходатайство, давшее ему возможность писать, было удовлетворено — 20 ноября 1854 г.; когда Врангель приехал в Семипалатинск, он застал Федора Михайловича уже на частной квартире [29, 17—18].

15 апреля 1855 г. Достоевский отправил К. И. Иванову из Семипалатинска письмо, приложив его к письму,

* Примечательный штрих к характеристике взаимоотношений Достоевского с Ольгой Анненковой рисует замечание его в конце письма, адресованного Прасковье Егоровне, о каком-то заинтересовавшем их гадании («Не слышали ли вы чего об одном гадании в Омске в мое время? Я помню — оно поразило Ольгу Иванову») — писатель помнит его и через полтора года. В этой связи возникает гипотеза о датировке одной записки Достоевского, адресат которой неизвестен. На маленьком клочке бумаги Федор Михайлович написал очень убористо, нарочито мелким почерком содержание своего сна, сопроводив его поясняющими рисунками и просьбой о толковании. Записка начинается без обращения, кончается без приветствия и не имеет даты [49, 1025, 1; 1, 1, 290].

Записка признана раппим автографом Достоевского, но отнесена к 60-м годам, так как найдена среди бумаг этих лет. На наш взгляд, ее следует отнести к периоду заточения в Омском остроге: об этом говорит нарочито убористый почерк — надо было уместить на маленьком клочке; сходство почерка с записями «Сибирской тетради»; отсутствие обращения — ради конспирации. Записка передавалась через третье лицо, которому адресат был известен. Судя по совместному интересу Федора Михайловича и О. И. Анненковой (Ивановой) к какому-то омскому гаданию, не исключено, что и в этом случае он адресовался за толкованием именно к пей.

адресованному Евгению Ивановичу Якушкину, с просьбой к последнему о пересылке («в Петербург, в дом Лисицына, у Спаса Преображения. Но вероятно адрес вы сами знаете») [1, 1, 150]. Летом 1855 г. Достоевский получил от Константина Ивановича несколько строк [1, 1, 163]. В январе 1856 г. просил брата: «Пожалуйста познакомься получше с Ивановым» [1, 2, 564]. Именно Ивановы прислали Федору Михайловичу приказ о производстве его в прапорщики в октябре 1856 г. («Поблагодари К. И. Иванова и Ольгу Ивановну. Они мне прислали приказ...» — письмо Михаилу 9 ноября 1856 г. [1, 2, 569]).

В первой половине 60-х годов Константин Иванович был переведен по службе сначала на Кавказ, затем в Иркутск, и семья Ивановых на много лет оторвалась от жизни Петербурга и Москвы [45, 202]. В 1869 г. К. И. Иванов, имевший к этому времени чин генерал-майора, был начальником инженеров Восточно-Сибирского военного округа [18, 104]. Примерно в начале 70-х годов Ивановы возвратились в столицу.

В тетради Достоевского 1872—1875 гг. находим запись: «Конст[антин] Ив[анович] Иванов, на Поварской (или в Поварском переулке) близ Владимирской, дом № 13» [50, 318]. По мнению Г. Ф. Коган, эта запись связана с письмом к Достоевскому петрашевца Н. А. Момбелли, передавшего желание Ольги Ивановны возобновить знакомство [50, 346].

Знакомство возобновилось. С семьей Ивановых завязались отношения и у Анны Григорьевны Достоевской. Когда в 1881 г. к ней обратилась племянница Федора Михайловича за разъяснениями по поводу данных Ризенкампафа, Анна Григорьевна попросила дать ей выписку из письма доктора, «чтобы показать ее какому-то Иванову, который тоже был в Сибири в то же время и может подтвердить справедливость этого факта» [42, 1, 303]. Заметим попутно, что в такой же роли достоверного свидетеля событий жизни Достоевского в Омске должен был выступить Константин Иванович и по просьбе В. Е. Якушкина (внука декабриста), который в 1883 г. адресовал к нему за уточнениями М. И. Семевского в связи с публикацией писем Достоевского к Е. И. Якушкину в «Русской старине» [51, 941, 3].

В «Книге для записывания книг и газет по моей библиотеке», составленной А. Г. Достоевской, есть такая заметка: «По словам К. И. Иванова, в каторге человек,

убивший своего отца, был Ильицкий, другой, который совершил гнусный поступок и которого прогнали сквозь строй, назывался Аристовым.

Сначала главным был князь Горчаков, а затем Гасфорд, Горчаков милостиво относился, Гасфорд же строже» [52, 69].

Современные исследования по архивным документам каторжан подтверждают точность сведений Константина Ивановича об именах прототипов героев Достоевского. Инженер хранил их в памяти до глубокой старости.

О контакте Ольги Ивановны в конце ее жизни с женой писателя говорят две записки (ориентировочная датировка их, предложенная Анной Григорьевной в ее поздней надписи на обложке к запискам, — 1892—1894 — неверна, так как О. И. Анненкова умерла 10 марта 1891 г.). Первая записка: «Многоуважаемая дорогая Анна Григорьевна, до отъезда завезу Вам памятную записку набело, о которой мы говорили вчера, и оставлю, если позволите в Ваше распоряжение. Примите чувства искренней и глубокой преданности. О. И. Иванова». Вторая записка: «Многоуважаемая дорогая Анна Григорьевна, вчера я забежала к Вам, хотела передать, что совершенно неожиданно пошла сама к оберпрокурору и он меня выслушал, хотя сначала отказывал в моей просьбе, но потом принял памятную записку». Далее Ольга Ивановна просила замолвить словечко по ее делу [53, без листа]. Как видно, роли переменялись, и теперь уже семья Федора Михайловича имела возможность помочь дочери Анненкова.

Отношения со старшими Анненковыми тоже имели продолжение после Омска. Определенную роль в контактах между Тобольском, Ялуторовском и Семипалатинском сыграл А. Е. Врангель. «В июле 1854 года я покинул Петербург и отправился через Москву в мой длинный путь. Мое путешествие, служба, пребывание в Тобольске, посещение в Ялуторовске декабристов, товарищей моего отца, пребывание в Омске, а также служба и приключения в Сибири вообще — будут когда-нибудь описаны особо в моих воспоминаниях» [29, 11].

Александр Егорович не написал обещанную здесь часть воспоминаний. Но его беглое замечание о поездке к декабристам находит подтверждение в переписке И. И. Пущина. 11 декабря 1854 г. Иван Иванович сообщал Г. С. Батенькову: «О маркизе [Н. А. Траверсе.—

М. Г.] я имел известия через барона Врангеля, тоже лицейста, который приехал сюда служить в новую Семипалатинскую область. Он у меня погостил несколько дней, и я его благословил на доброе дело, только советовал смотреть на дела людские с некоторой снисходительностью, чтоб не лишиться себя возможности быть полезным» [44, 280].

Приехав после ялуторовских и тобольских встреч в Семипалатинск, Александр Егорович, конечно, передал Достоевскому новые впечатления о его доброжелателях. «Барон Врангель, вам знакомый, вам кланяется», — писал Достоевский П. Е. Анненковой в октябре 1855 г. В феврале 1856 г., когда уже сложилась дружба с Достоевским, барон снова побывал у декабристов. «По пути, далее, я в Омске не остановился, чем вызвал неудовольствие Гасфорта, как сообщил мне Достоевский в своем письме от 13-го апреля 1856 года. Но зато заехал в Ялуторовск передохнуть и повидать моих милых старых друзей из декабристов, И. И. Пущина, М. И. Муравьева, князя Ев. Оболенского и вдову их товарища Ентальцову» [29, 191]. И у Пущина: «6 и 7 числа опять гость — молодой Врангель, лицейст, служащий в Семипалатинске. Опять толкотня в доме Брошникова» (из письма к Н. Д. Фонвизиной от 13 февраля 1856 г.). Тогда же Иван Иванович писал Н. И. Пущину: «Вот твой знакомец Александр Егорович Врангель. Этот раз он непременно будет у тебя, любезный друг Николай» [44, 296 и 295].

Примечательно, что Врангель на этот раз называет декабристов своими старыми друзьями (в 1854 г. он говорил о них лишь как о товарищах своего отца). Этот выпускник лицея 1853 г., имевший к моменту приезда в Сибирь всего лишь двадцать лет от роду, разумеется, не мог дружить с декабристами до их ссылки. Следовательно, речь идет об отношениях, сложившихся за время сибирской службы Врангеля в 1854—1856 гг. и переплетавшихся с линией Достоевский — ялуторовско-тобольская колония декабристов.

Дополнительные сведения об этих контактах дает неопубликованная переписка А. Е. Врангеля с И. И. Пущиным. Из нее видно, что декабрист довольно регулярно писал молодому выпускнику лицея. Врангель привез с собой в Семипалатинск из Ялуторовска ряд книг А. И. Муравьева-Апостола и, в свою очередь, отправлял ему жур-

нал «Indépendance belge» и возвращал книги «с верным человеком» [36, 34, 2 и 4]. Пересылка книг и рукописей упоминается в письмах неоднократно. Александр Егорович спрашивает у Пущина и о тобольских декабристах, называя их своими знакомцами [36, 34, 6—11].

В письмах Врангеля к И. И. Пущину постоянно упоминается Ф. М. Достоевский. Барон пишет о своем новом друге в самых восторженных выражениях: «Общество здесь порядочное, и можно составить славный кружок; я очень сошелся с Достоевским и Абрамовым» (1 января 1855 г.). И позднее: «Судьбе угодно было сблизить здесь [меня] с человеком примечательным, с которым я очень сблизился и которому буду очень многим обязан,— это Достоевский. Он, губернатор и двое других, вот все мое знакомство intime» [36, 34, 1 об. и 5].

Через Врангеля Достоевский заочно познакомился с И. И. Пущиным, выражал интерес к продолжению этого знакомства и думал побывать в Ялutorовске, когда получит свободу. Александр Егорович пытался в интересах Достоевского узнать у декабристов о подготавливаемой амнистии. 11 июня 1855 г. он писал Пущину: «Цензура получила реформу, да еще пишут мне, что будет общая амнистия! дай] Бог; ради Бога, напишите, не имеет ли кто-нибудь из Вас об этом сведений, я бы обнадежил моего дорогого Достоевского; он заочно с Вами познакомился и просит передать, что если судьба его освободит от неволи, то будет в Ялutorовске» [36, 34, 8—9 об.]. 16 октября 1855 г. Врангель снова писал в Ялutorовск о надеждах и ожиданиях Достоевского: «Бедный Д... горюет и все ждет добрых известий; за него мои сильно хлопочут в Питере; дай Бог, чтоб с успехом» [36, 34, 11]. Когда Достоевский получил возможность выехать из Семипалатинска — это произошло лишь в 1859 г., его очных и заочных знакомых из семей декабристов уже давно не было в Сибири.

О возможности связи Достоевского с семьями декабристов в семипалатинский период через доверенных лиц говорит способ передач в октябре 1855 г. знаменитого письма Достоевского к П. Е. Анненковой, к которому мы уже обращались. «Податель письма моего, Алексей Иванович Бахирев, очень скромный и очень добрый молодой человек, простая и честная душа. Я знаю его уже полтора года и уверен, что не ошибаюсь в его качествах». И в конце письма: «А. И. Бахирева я очень уважаю,

по не во всем с ним откровенен» [1, 1, 163]. Последнее замечание вызвано опасением подвести как-либо печально Анненковых и несомненно характеризует более глубокий уровень откровенности Достоевского с ними самими. Между тем Бахирев не был человеком случайным для Федора Михайловича. Это брат ротного командира Достоевского Андрея Ивановича Бахирева, выпускник омского кадетского корпуса, человек образованный, увлеченный литературой. С Федором Михайловичем они жили одно время вместе на квартире [54, 203—204 и 216]. Сохранилось письмо А. Бахирева к Достоевскому от 8 февраля 1857 г., в котором он поздравляет Федора Михайловича с производством в офицеры и обсуждает с ним вопрос о своем переводе в армию, ссылаясь на мнение общего знакомого [55, 29644, 1—2; 42, 2, 297—298].

Для полноты характеристики отношения Достоевского к семье Анненковых выделим факты, касающиеся самого декабриста. «Мое глубочайшее уважение, полное и искреннее, вашему супругу», — написал Федор Михайлович П. Е. Анненковой в 1855 г. Там же: «Я с благоговением вспоминаю о вас и всех ваших» [1, 1, 163].

Еще более определенен другой факт. Уезжая из ссылки в 1859 г., писатель был проездом в Нижнем Новгороде, где И. А. Анненков служил в это время советником (старшие Анненковы выехали из Сибири в 1857 г.). Достоевский хотел увидеться с Иваном Александровичем, ездил к нему (об этом очень определенно рассказано в письме писателя к А. И. Гейбовичу), но тот был в отпуске [1, 1, 271]. Анненковы постоянно жили в Нижнем (в течение 20 лет); это помешало развитию контактов.

Об И. А. Анненкове Федор Михайлович напомнил читающей публике в «Дневнике писателя» за 1876 г. «Кстати, словечко о декабристах, чтобы их не забыть; извещая о недавней смерти одного из них, в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; — это не совсем точно. Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перевернул покойный Александр Дюма-отец в известном романе своем: „Les Mémoires d'un maître d'armes“. Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол, родной брат казненного. Живы Свистунов и Назимов; может быть есть и еще в живых» [14, 22, 32].

Роман Дюма об Анненкове и Полине Гёбль (Праксилье Егоровне) возмутил в свое время сибирскую «артель» декабристов, П. Е. Анненкова собиралась даже публиковать в Париже ответ на клевету [5, 282; 45, 67 и 308]. Достоевский разделил их раздражение. Желая напомнить о стариках-декабристах, он избрал наиболее доступные для широкой публики ассоциации. Об Анненкове и М. И. Муравьеве-Апостоле как людях ему хорошо известных писатель сказал развернуто; Свистулова и Назимова — лишь упомянул.

Теплое отношение к декабристам и их окружению могло сочетаться у Достоевского с его убеждениями, с критикой революционного пути в значительной мере в результате сибирских впечатлений от их нравственного облика. Лица из этого круга, с которыми писатель продолжал поддерживать отношения, и сами руководствовались подобными же оценками. Ольга Ивановна Анненкова записала в своих «Воспоминаниях»: «Известно многим уже, какие люди были декабристы, с каким достоинством переносили свое положение, какую примерную, безупречную жизнь вели они сначала в каторжной работе, а потом на поселении, разбросанные по всей Сибири, и как они были любимы и уважаемы везде, куда бросала их судьба. Лично для меня они были незаменимы, я их потом везде искала, мне их недоставало в жизни, когда по выходе замуж я переехала в Россию. И это легко понять, когда вспомнишь, что декабристы за все время своего изгнания, даже во время поселения, когда тысячи верст их разделяли, составляли как бы одну семью, тесно связанную между собою общими интересами и самою святою нежною дружбою <...> Они никогда не изменяли своим правилам, были искренни в своих убеждениях и поступках, и потому не допускали ни в чем обмана, лжи и лицемерия. Благо России и общественной пользе они ставили выше всего и всегда говорили, что 14 декабря было роковой ошибкой! Много и много раз приходилось мне слышать от них, что можно было бы принести гораздо большую пользу отечеству, служа своим идеалам мирным путем» [45, 209—210].

В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский рассматривал впечатление от нравственного подвига декабристов как особую веху в формировании своих взглядов. Он вспоминал тобольскую встречу с женами ссыльных в ходе анализа двух противопоставляемых позиций —

христианского сострадания к преступнику, свойственного русскому народу, и защиты преступника в силу обусловленности его поведения «средой» (в связи со взглядами Белинского) [14, 21, 12].

Глава пятая

НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

Когда Л. Н. Толстой собирал материал для романа о 20—30-х годах, он познакомился с некоторыми декабристами — встречался с ними, завязал переписку. В феврале 1878 г. в Москве побывал у Петра Николаевича Свистунова. В марте Толстой снова виделся со Свистуновым, взял у него интересующие его материалы. А в апреле этого же года в письме к Петру Николаевичу писатель сделал такую приписку [56, 238]:

«Р. С. Тетрадь замечаний Фон-Визинной я вчера прочитал невнимательно и хотел уже было ее отослать, полагая, что я все понял, но, начав нынче опять читать ее, я был поражен высотой и глубиной этой души. Теперь она уже не интересует меня как только характеристика известной очень высоко нравственной личности, но как прелестное выражение духовной жизни замечательной русской женщины, и я хочу еще внимательнее и несколько раз прочесть ее. Пожалуйста, сообщите мне, как долго могу я продержаться эту рукопись, или могу ли переписать ее?»

Л. Толстой».

Заинтересовавшись Наталией Дмитриевной как «известной очень высоко нравственной личностью» и взяв у близко знавшего Фонвизину Свистунова ее рукопись, Л. Н. Толстой был поражен глубиной ее духовной жизни.

Именно этой женщине, заслужившей столь высокую оценку Толстого, Достоевский написал письмо о своей вере, к которому и ныне постоянно обращаются философы и литературоведы, характеризуя мировоззрение писателя. О ней самой при этом говорится мало, и место Фонвизинной (урожденной Апухтиной) в сибирской жизни Федора Михайловича остается, в сущности, невыясненным.

Наталья Дмитриевна была чуть ли не единственным человеком, который писал Достоевскому во время пребывания его на каторге. В самом деле, ведь брат Михаил, самый близкий из семьи, не написал ему в острог, по выражению самого Федора Михайловича, «ни одной строчки». «Веришь ли, что в уединенном, замкнутом положении моем я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что было бы с твоими детьми, и клял мою долю, что не могу быть им полезным. Другой раз, когда я узнавал наверное, что ты жив, меня брала даже злоба (по это было в болезненные часы, которых у меня было много) и я горько упрекал тебя. Но потом и это проходило; я извинял тебя, старался приискать все оправдания, успокаивался на лучших, и ни разу не потерял в тебя веры: я знаю, что ты меня любишь и хорошо обо мне вспоминаешь. Я писал тебе письмо через наш штаб. До тебя оно должно было дойти наверное, я ждал от тебя ответа и не получил. Да неужели же тебе запретили? Ведь это разрешено, и здесь все политические получают по несколько писем в год. Дуров получал несколько раз, и много раз на запросы начальства о письмах разрешение писать их подтверждалось» [1, 1, 132].

От других членов семьи Достоевский также получил первые письма лишь в Семипалатинске [1, 1, 146—147]. Прежние друзья А. Н. Майков и А. Н. Плещеев написали только в Семипалатинск.

В дни, когда Федор Михайлович, живя после выхода из острога у Ивановых — Анненковых, упрекал брата за долгое, во весь каторжный период, молчание, Фонвизиной он написал: «С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Наталья Дмитриевна. Вы превосходно пишете их, или лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца, легко и без натяжки» [1, 1, 142].

Достоевский пишет это в первые дни освобождения, т. е. речь идет явно о письмах, поступивших в Омский острог. О многократности переписки говорят и другие места этого письма. «Последний раз, как я писал вам, я был болен и душою и телом. Тоска меня ела, и я думаю, что написал пребестолковое письмо». И еще: «Письмо Ваше дошло вскрытое, и потому надо сильно

остерегаться» [1, 1, 141]. Значит, Федор Михайлович писал Фонвизиной из каторги не одно письмо.

Сохранился черновик письма Наталии Дмитриевны к Достоевскому от 8 ноября 1853 г. [57, 1—3 об.]. Приводим это письмо здесь полностью, так как оно передает дух переписки.

«Чтобы воспользоваться верным и удобным случаем перекинуться несколькими краткими словами с племянником и с вами, мой добрый и любезнейший Ф. Мих. Желала бы, но не могу писать много — сердиться на вас не имею причины — зная вас в другом положении, могла бы может быть посетовать на ваше молчание, именно потому, что для меня истинное утешение получить от вас какую-нибудь, хоть не полную, но все-таки душевную весточку — сетовать теперь, по вашим обстоятельствам не приходится — не только гнев, но даже самые сетования были бы неуместны, я человек вышколенный, умею терпеть, умею ждать, умею также и быть благодарной за все мной полученное в жизни, и особенно за получаемое неожиданно — итак благодарю Бога и вас за доставленную мне радость письмом вашим, хоть в нем собственно об вас и мало радостного. Главное, что вы живы и по возможности переносите тяжесть вашей жизни теперешней. Слава Богу и за это — Слава Богу и за то, что в этой земной жизни все протекает и если жаль нам чего-нибудь приятного исчезающего от нас безвозвратно, то можем утешаться, что тяжелое для нас также может исчезнуть и замениться лучшим. Да если бы наконец наше счастье могло всегда остаться при нас неизменным! Сами-то мы по закону природы для него изменяемы беспрестанно и ускользаем от него незаметно для нас самих. Скажу вам, что для меня в жизни моей было одно время, (это уже очень давно) время такого полного земного счастья, что оно мне наконец наскучило, уверяю вас, что говорю вам правду — до того наскучило, что всеми силами моей и всеми желаниями сердца моего вызвала какую-нибудь перемену — хоть несколько и боялась делать эти или другие предположения к изменению. Не правда ли, что это было не только глупо, но неблагоприятно с моей стороны — Мне было тогда 22 года от роду. В последствии было другое время такого полного беспредельного неукротимого горя, что с жадностью я хваталась за болезни и случавшиеся тогда разные житейские неприятности, чтобы только отвлечь внимание от убива-

ющей меня печали. Правду говорят, что утопающий готов хвататься за бритвы, если бы они попались ему под руки, чтобы только не утонуть. Как же не благодарить Бога за то, что Он, зная природу каждого из нас, все в жизни каждого уравнивает, чтобы все поучало и умудряло ответом. От нас зависит всем пользоваться и собирать нравственное неотъемлемое людьми сокровище. Очень верю, что теперешнее существование вам паскучило. Но вы молоды, очень молоды в сравнении со мною, отжившею и пережившею себя. Я сама не узнаю себя, когда сравниваю с тем, что была прежде. И слава Богу, что я не та уже! Хоть и теперь не совершенно собою довольна, но ведь я еще живу на земле. И в этих других, теперешних условиях жизни много <...>* По возвращению в [Россию] я ее не узнала. Я оставила ее, когда мне было только 23^а года. Этому теперь 25 лет слишком. Когда я была молода, мне все старушки — набеленные, наурмяненные, подмазанные и подкрашенные, чтобы казаться молодыми, — казались такими потому, что я судила о всем по себе. Теперь — как я сама сделалась старушкой — мне странно кажутся претензии на молодость. И ту, которую любила, почитала матерью родимою, нашла мачехою противною. Древней ее всех вижу аз днесь, но пляшущую, разбеленную, разурмяненную, жеманную, завистливою — клеветующую на тех, кто лучше ее — злою — хвастливою себялюбивою — недобросовестною — и обирающею всех и каждого — без забот о детях и людях своих — и готовую пожертвовать всеми и всем священным для исполнения своих прихотей и развратных стремлений — Любовь моя к ней превратилась в отвра[щение] <...>* я и прежде <...>* и упрекала себя за эти подозрения — Теперь разочаровалась вполне — и ничего доброго не жду от нее. Жаль только бедных братьев моих, которые хотели вразумить мою матушку и терпели прежде и теперь терпят от этого — Но все же я за них рада за всех — поэтому и перенесла любовь мою, да еще на меньших братьев, которые хоть и не понимают еще ничего, но страдают бедненькие жестоко от всех любимцев и балованных слуг.

В письме к племяннику я описывала, как мы устроились здесь по внешней жизни. Здоровье мое все как-то часто изменяет мне — Вы видите, что я не разумею вас

* Далее оторван угол листа.

худо — Вы говорите о вашем одиночестве — Конечно, оно очень тягостно, но иногда общение короткое насильственное, а между тем необходимое с людьми неприятными, но все же близкими еще тяжелее — В таком случае по пословице *il vous mieux être seul que mal accompagné...** Что мудреного, что вы живете надеждой. Вы молоды и нравственные силы у вас в полном развитии — и жизнь самая далеко перед вами развивается. Но я-то, вообразите, тоже живу надеждою! Надеждою даже на невозможное по всем теперешним обстоятельствам. Но когда-нибудь может быть и вероятное.

Простите, мой добрый, дорогой Ф. М. Я также верю, что когда-нибудь увидимся, но когда и как, знает про то Бог мой! Знаете ли, мне все кажется, что это будет именно под другим небом, где-нибудь далеко отсюда, а от вашего местопребывания теперешнего еще дальше. Тогда, когда вы воскреснете душою и здоровьем, тогда как, может быть, я буду лучше чувствовать себя и по душе, и по здоровью.

Итак до свидания!

Желаю вам всего лучшего.—

О бр[ате] вашем слышала, не знаю правда ли, что он оставил заниматься литературой, а предался занятиям другого рода, которые ему не могут доставить никаких неприятностей, а также выгодны.— О сестре С. я имею недавно очень приятные вести. Она вас очень помнит и любит.

Сердечно вам преданная Н. Ф.»

Горькая метафора Фонвизиной о родине, которая представилась ей после возвращения из сибирской ссылки не матушкой родимой, а злой мачехой — молодящейся старухой, несправедливой к своим сыновьям, которые хотели вразумить ее (т. е. к декабристам и другим, подобно им радевшим за обновление страны), отражает настроение Наталии Дмитриевны в этот период, выраженное в письмах ее и к другим корреспондентам**. «Меньшие братья», к которым обращены симпатии Фон-

* Лучше быть одному, чем в худой компании (*франц.*).

** 12 сентября 1853 г. Н. Д. Фонвизина писала в Сибирь своему воспитаннику Николаю Степановичу Знаменскому о том, как тяготит ее теперь роль помещицы и приниженное поведение крестьян. «Для чего же была сибирская школа и при том такое продолжительное в ней пребывание?» [8, 14, 9; 58, 33—34].

визиной, жестоко страдающие от любимцев и балованных слуг и сами еще не сознающие своего положения, — это крестьяне, крепостное положение которых особенно бросалось в глаза вернувшимся из Сибири.

Достоевский откликнулся на это настроение. «Не знаю, но по вашему письму я угадываю, что вы с грустью нашли опять родину. Я понимаю это; я несколько раз думал, что если вернусь когда-нибудь на родину, то встречу в моих впечатлениях более страдания, чем отрады. Я не жил вашей жизнью и не знаю много в ней, как и всякий человек в жизни другого, но человеческое чувство в нас всеобщее, и кажется при возврате на родину, всякому изгнаннику приходится переживать вновь в сознании и воспоминании все свое прошедшее горе. Это похоже на весы, на которых свесишь и узнаешь точно настоящий вес того, что выстрадал, перенес и что у нас отняли добрые люди» [1, 1, 142].

Но еще больший отклик в ответном письме Федора Михайловича нашли мысли его корреспондентки о промысле, который умудряет и горестями, и о «неотъемлемом людьми» нравственном сокровище. На них он и ответил удивительно искренними словами о своей вере — неверии: «Не потому что вы религиозны, но потому что сам пережил и прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь как „трава иссохшая“ веры, и находишь ее, собственно потому что в несчастьи яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки» [1, 1, 142].

Сердечный тон Наталии Дмитриевны, естественность и глубокая откровенность в описании собственных настроений, взволнованность «вечными вопросами» смысла человеческого бытия располагали Достоевского к ответным признаниям. Человек, который казался иным наблюдателям необщительным, писал малоизвестной ему женщине о самых сокровенных своих терзаниях.

«Но когда же, скажите, пожалуйста, когда же мы будем совсем свободны, или по крайней мере, так как другие люди? Уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Что касается до меня, то я желаю лучше всего, или уж ничего! В солдатской шинели я такой пленник, как и прежде. И как я рад, что в душе моей нахожу еще надолго терпения, что благ земных не желаю и что мне надо только книг, возможности писать и быть

каждодневно несколько часов одному. О последнем я очень беспокоюсь. Вот уже скоро пять лет, как я под конвоем в толпе людей и ни одного часу не был один. Быть одному это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей делается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок; сознаешь все это, упрекаешь себя даже — и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Я уверен, что бог вас избавил от этого. Я думаю в вас, как в жещине, гораздо более было силы переносить и прощать» [1, 1, 143].

Истоки этой удивительной переписки — тобольские встречи Фонвизиной с петрашевцами в январе 1850 г. Обстоятельства, при которых прошли эти встречи, подробно описаны Наталией Дмитриевной в письме к брату ее мужа — И. А. Фонвизину, отправленном с «верной оказией» в мае 1850 г. Письмо шло вне официального контроля, и жена декабриста могла быть вполне откровенна. В нем обнаруживаются противоречия, существовавшие между декабристами и петрашевцами, осознававшиеся обеими сторонами, но в значительной мере преодоленные в последующем общении ссыльных. Сама Наталия Дмитриевна была очень далека от настроений кружка Петрашевского.

«Недавно случилось мне, — писала она, — сойтись со многими страдальцами, совершенно как бы чуждыми мне по духу и убеждениям моим сердечным. Признаюсь, что я даже не искала с ними сближения. Другие из наших и Michel приняли деятельное участие в их бедствиях. Снабдили всем нужным — и сношения сначала этим только и ограничились. Между тем они были предубеждены против всех нас и не хотели даже принимать от нас помощи, многие, лишенные всего, считали несчастьем быть нам обязанными. Социализм, коммунизм, фурьеризм были совершенно новым явлением для прежних либералов, и они дико как-то смотрели на новые жертвы новых идей. Между тем говорили о доставлении тайно денег главному из них, Петрашевскому, который содержался

всех строже — доступ ко всем к ним был чрезвычайно труден. Я слушала все это равнодушно, даже, признаюсь, удивлялась своей холодности — и несколько упрекала себя, но как во мне ничего нет хорошего — собственно моего — то как нищая и успокоилась нищетою своей нравственною — негде взять и делать нечего — хлопоты и заботы других меня радовали» [59, 13, 1 об.— 2; 13, 618—619; 60, 168—172].

Так со свойственной ей беспощадностью к себе рисует Наталия Дмитриевна свою первую реакцию на появление новых ссыльных. Но последовавшие затем события показали, как много душевной силы, доброты, настойчивости проявила она для поддержки их, ободрения и помощи им. «Обращаются ко мне с вопросом: нельзя ли мне попробовать пойти до бедного узника? (Петрашевского.— М. Г.). Дом наш в двух шагах от острога. Не думавши много, я отвечаю: „Если считают нужным, попробую“. Я даже не знала и не предполагала, как это сделать,— возвратясь домой, на меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо представилось мне его горькое, безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы пойти до него». Зашив в ладапку 20 рублей серебром и образок, Фонвизина вместе со своей «пяней» Матрешей Петровной Нефедовой, которая добровольно поехала за ней в Сибирь, отправилась на следующий день в острог к обедне. Знакомый Матрешы Петровны, Кашкадамов, служивший в остроге, посоветовал женщинам попробовать пробраться в тюремную больницу под предлогом раздачи милостыни. Затея удалась, и Фонвизина увидела большого Петрашевского, передала ему ладапку с деньгами и поговорила с ним. Петрашевский сообщил ей в этом разговоре как-то горестные вести, касавшиеся ее очень лично [59, 13, 2 об.— 3]. Наталия Дмитриевна не пишет, какие именно, но есть основания предполагать, что речь шла о сыне Фонвизиных — Дмитрие, который был замешан в деле петрашевцев, и только отъезд на Кавказ по совету Боткина для лечения туберкулеза спас его от ареста (Дубельт дал предписание об аресте) [13, 626].

«От него (Петрашевского.— М. Г.) вышла я сама себя не помня от жгучей и давящей сердце скорби и в сопровождении Кашкадамова отправилась в другие отделения для раздачи. Пришли в одну огромную удупливую и темную палату, наполненную народом; от стеснения

воздуха и сырости пар валла, как вот от самовара, — напротив дверь с замком и при ней часовой. Покуда няня говорила с Кашкадам[овым], у меня мелькнула мысль — я сунула ей деньги мелкие и, сказав, чтобы раздала, выскочила — и прямо к часовому: „Отвори, пожалуйста, я раздаю подающие“. Он взглянул на меня, вынул ключ и, к великому моему удивлению, отпер прервнодушно и впустил меня» [59, 13, 4 об.].

Четверо молодых людей вскочили с пар при появлении Фонвизиной. Это были петрашевцы Н. А. Спешнев, Н. П. Григорьев, Ф. П. Львов и Ф. Г. Толль. «Я уселась вместе с ними и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу — я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня. Но вот что страшно — что они, узнав, что я от Петрашевского, догадались о моей скорби тотчас — и не принимая нисколько на свой счет, утешали меня в моем горе. Это взаимное сочувствие упростило сейчас наши сношения, и мы как давно знакомые разболтались. Часовой за благо рассудил запереть меня с ними, видя, что я долго не выхожу. Няня, между тем, окончив свое дело, осталась с Кашкад[амовым] в сепях разговаривать. Мне так было ловко и хорошо с новыми знакомцами, что я забыла о времени».

Между тем сменилась караульная команда. «Часовой, ни слова не говоря, сдал ключ другому. Мы слышали шум и говор, но не обратили внимания — вдруг шум усилился, слышим, отпирают и входит дежурный офицер с жандармским капитаном. Няня так испугалась (...) по подивитесь, что я не только не испугалась, но даже не сконфузилась и, встав, поклонилась знакомому жандарму, назвав его по имени. Мне и мысли никакой не пришло о последствиях. Жандарм потерялся, стал расспрашивать о М. А. здоровье (Фонвизина. — М. Г.), я сказала, что была у обедни и зашла спросить у господ, не нужно ли им чего на дорогу. Он удивился, что я рано встаю, а я сказала, что как я встаю рано, то и поспеваю всюду — и, пошутив с ним, простилась с господами, сказав им до свидания. Смольков, жандарм, говорил мне после, что моя смелость так его поразила, что он решился содействовать нам, и сдержал слово» [59, 13, 4—4 об.].

У Наталии Дмитриевны к этому моменту был опыт двадцати двух лет сибирской жизни — каторги и ссылки: Нерчинские рудники, Енисейск, Красноярск, Тобольск.

Опыт общения с тюремным, военным и гражданским начальством разных уровней. Ее трудно было смутить даже в такой ситуации.

В тобольском остроге было еще три петрашевца, которых ей не удалось посетить в это утро. «Я было хотела и к [ним] пробраться, но было уже поздно. Возвратясь, отдала отчет в моем походе Мишелю. Он было потревожился, но после благодарил Бога, что все так устроилось. — После этого нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях и не считать их своими. Дамы наши явились ко мне узнать, удалось ли мне доставить деньги. Мы положили под вечер, переодевшись, в сопровождении няни ехать к смотрителю. — Офицер был из кадетов и предобрый юноша. Тут же приехал один из служащих офицеров при строительной комиссии, короткий приятель Львову <...> и этот присоединился к нам в желании видеть узников». Сначала привели к смотрителю для свидания с декабристами одного Петрашевского. Когда его увели, «привели 4-х, с которыми я сидела взаперти, их не приказано было сводить вместе с Петрашевским и с тремя остальными — нам стало жаль, что трое остальных как бы покинуты».

«Трое остальных» были Ф. М. Достоевский, С. Ф. Дуров и Ф. Л. Ястржембский. Их отделенность от других отметил Федор Михайлович: «11^{го} января мы приехали в Тобольск, и после представления начальству и обыска, где у нас отобрали все наши деньги, были отведены, я, Дуров и Ястржембский, в особую каморку, прочие же Спешнев и другие, приехавшие раньше нас, сидели в другом отделении, и мы все время почти не виделись друг с другом» [1, 1, 135].

Но вернемся к описанию событий Фонвизиной. «Становилось поздно, и няня вздумала просить офицера, чтобы и остальных привели, не уводя еще этих. Тот взял на свой страх. Вдруг мы слышим звук цепей, все вскочили и, когда вошли, с криком бросились обнимать друг друга — описать вам восторга их при неожиданном свидании друг с другом невозможно. Мы все прослезились и даже смотритель. Им столько было сообщать друг другу, что мы оставили их на несколько времени и сами забились в уголок — с другом Львова. Поговорив и успокоившись, они бросились к нам с благодарностью, цело-

ваши нам платье, руки, как обрадованные дети» [59, 13, 5; 13, 621].

В этой обстановке общей взволнованности и растроганности в наибольшей мере вниманием Наталии Дмитриевны овладел С. Ф. Дуров. Человек слабый, он искал, по-видимому, опору в энергичной и доброй женщине; рассказал подробно о своем одиночестве, о неприязни к нему родственников. Фонвизина тут же предложила сказать всем, что он ее племянник, чтобы иметь впредь больше возможности опекать его. На самом деле Дуров не был даже дальним родственником Фонвизиных — до тобольской встречи знаком с ними не был.

«Теперь во всей Сибири, особенно в Тобольске и Омске, никто в нашем родстве с Дур[овым] не сомневается,— продолжала Фонвизина в письме брату мужа,— Мишель, няня, да еще одна особа, а именно Маша Францева, только в секрете, все прочие, даже из наших, принимают родство за чистые деньги. Перед зарей, т. е. когда вечером бьют зорю, мы возвратились домой (речь идет о той же первой встрече у зрителя.— М. Г.), но я продолжала посещать племянника, и мне уже не препятствовали,— все офицеры наперерыв давали свидания не только с Д[уровым], но и со всеми его товарищами. Жандармский капитан предложил даже М. А. за рекою, при отправлении Дур[ова] и Достоев[ского], иметь с ними свиданье, и мы ездили. Я жандармов просила беречь дорогой господ. Мы в Омск писали и рекомендовали бедных друзей наших,— как в родственнике нашем, так и в товарище его многие теперь в Омске принимают участие, доставляют даже по временам ему мои послания и от него ко мне. Я по целым часам в бытность их здесь с ними беседовала» [59, 13, 5 об.— 6; 13, 621—622].

О хлопотах мы уже знаем из воспоминаний Марии Францевой, писем А. И. Сулоцкого и И. В. Ждан-Пушкина. Но в рассказе Фонвизиной важно указание на неоднократность тобольских встреч и длительность бесед ее с Дуровым и Достоевским. «Не искала я несколько перелить в них мои задушевные убеждения,— пишет Наталия Дмитриевна.— Но Господь такую нежную материнскую любовь к ним влил в мое сердце, что и на их сердцах это отразилось» [59, 13, 6]. Внутреннему контакту способствовало умение Фонвизиной проникнуться настроением собеседника, понять виденье мира, отличное от своего собственного. «Чтобы судить о людях и вещах

совершенно справедливо, падо судить их не по собственным чувствам и убеждениям, по войти, так сказать, в их воззрения, свое оставив при себе; смотреть, какое на них вещи производят влияние. Напр., иное было бы мне счастьем, или по крайней мере я бы приняла за великую честь, а другому то же положение тяжело до крайности, и он страдает от него несказанно. Неужели же мне не пожалеть страждущего и не искать облегчить его страдания потому только, что, поставив себя на его месте, я бы страдания эти считала радостью. Господь судит внутреннее расположение человека, и невозможно свои собственные воззрения заставить иметь каждого, или каждого судить по своим убеждениям. Тогда и суждения и сочувствие наши к людям были бы слишком односторонни. Отчего бы только ни страдал человек, но он страдает, а это уже достаточно для сострадания» [59, 13, 1—1 об.].

Беседы затрагивали религиозно-нравственные вопросы и несомненно определили во многом характер будущей переписки. Существенное место в них занимала идея очищения страданием [59, 13, 6—8 об.]. На долю «племянника» приходились в переписке подробности событий жизни Фонвизиных, а в письмах к Достоевскому раскрывался преимущественно внутренний мир корреспондента. «В письме к племяннику я описываю, как мы устроились здесь по внешней жизни», — заметила Наталья Дмитриевна Достоевскому 8 ноября 1853 г. и ничего уже не прибавила об этом на протяжении всего пространного письма [57, 3].

Достоевский отметил особое значение для него тобольских встреч в письме к брату, но лишь намеком, не раскрывая. «Хотелось бы мне очень подробнее поговорить о нашем шестидневном пребывании в Тобольске и о впечатлении, которое оно на меня оставило. Но здесь не место» [1, 1, 135]. В этом же письме им сказаны добрые слова об участии и материальной помощи жен «ссылных старого времени» и выражено восхищение ими. Следовательно, впечатление, о котором писателю «очень хотелось бы» говорить подробнее, не сводилось к этому.

Возможно, Достоевский виделся с Н. Д. Фонвизиной и в Омске. В апреле 1853 г., как мы уже отмечали, она приезжала туда и присутствовала при крещении внучки Анненковых (девочку, кстати, назвали Наталией, вероятно, в честь Фонвизиной, к которой Ольга Анненкова относилась с исключительным уважением и любовью)

[25, 3532, 15 об.— 16] *. Приехавшая тогда же П. Е. Анненкова смогла увидеться с Достоевским. Это дает основание предполагать, что и Наталья Дмитриевна имела такую возможность.

Беседы с Н. Д. Фонвизиной, последовавшая многолетняя переписка с ней, омские встречи с людьми ее окружения (с двумя из них — А. И. Сулоцким и С. Я. Знаменским — Федор Михайлович имел возможность видеться в остроге), отбор передаваемых ими в тюрьму книг, отголоски этих связей в семипалатинский период — все это было для Достоевского соприкосновением со своего рода кружком, который охватывал часть отбывавших в Тобольске ссылку декабристов и близких к ним людей.

Термин «кружок» может быть употреблен в этом случае лишь условно; речь идет о круге лиц, связанных дружескими отношениями и известной духовной близостью, некоторым сходством интересов и религиозно-философских взглядов. Разумеется, далеко не все лица этого круга непосредственно выходили на Достоевского, далеко не все воззрения достигали его даже опосредованно. Тем более не все доходившее было включено тогда же или позднее в творческую лабораторию писателя или как-то повлияло на его мировоззрение. Но это был своеобразно преломленный в Сибири кусок общественной жизни России, с которым соприкоснулся писатель в период напряженной внутренней жизни и философских исканий, и потому его нужно знать и учитывать так же, как и другие явления, отмечаемые обычно в окружавшей Достоевского социальной действительности.

В этот круг Фонвизиных входил Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, который в Красноярске отбывал ссылку одновременно с ними, а затем был переведен вслед за Фонвизинными в Тобольск. В переписке декабристов и мемуарной литературе их окружения сохранилось множество свидетельств доброты и безграничной самоотверженности этого человека. Терпеливый многолетний уход в условиях ссылки за психически больным братом, декабристом Н. С. Бобрищевым-Пушкиным, неутомимая энергия и самозабвение в лечении холерных больных в период эпидемии, огромное количество пациентов из бед-

* Позднее Фонвизина всегда охотно принимала О. И. Иванову (Анненкову) с ее детьми у себя в Марьино и в Москве. Связь между ними сохранилась до конца жизни Натальи Дмитриевны [61, 55 об.].

ноты, которых он безвозмездно лечил гомеопатическими средствами,— все это вызывало восхищение товарищей [5, 407 и 410; 3, 5, 409—411].

По воспоминаниям И. Д. Якушкина, Павел Сергеевич в Чите возглавлял своего рода кружок. «Все мы, вместе находившиеся в Чите, имели между собою много общего в главных наших убеждениях; но между нами были 40-летние, другим едва минуло 20 лет. При нашем тогда образе существования никто внутри каземата не был стеснен в своих отношениях с товарищами никакими светскими приличиями. Личность каждого резко выказывалась во многих отношениях, мнения одних развились от мнений других, и мало-помалу составились кружки из людей более близких между собой по своим понятиям и влечениям. Один из этих кружков, названный в насмешку „конгрегацией“, состоял из людей, которые по обстоятельствам, действовавшим на них во время заключения, обратились к набожности; при разных других своих занятиях они часто собирались все вместе для чтения назидательных книг и для разговора о предмете, наиболее им близком. Во главе этого кружка стоял Пушкин, бывший свитский офицер и имевший отличные умственные способности. Во время своего заключения он оценил красоты евангелия и вместе с тем возвратился к поверьям своего детства, стараясь всячески осмыслить их. Члены „конгрегации“ были люди кроткие, очень смиренные, никого не задирающие, и потому в самых лучших отношениях с остальными товарищами» [5, 111].

В переписке Фонвизиных с Бобрищевым-Пушкиным 1838—1840 гг. (он оставался еще в Красноярске, а они уже жили в Тобольске) и в особенности в письмах его к Наталии Дмитриевне 1854—1862 гг. (после отъезда ее из Сибири) большое место занимают религиозные и нравственные вопросы, самоанализ [59, 57, 1—29; 62, 23—24]. После возвращения из Сибири (в 1856 г.) Павел Сергеевич подолгу гостил у Фонвизиной и умер в 1865 г. в ее московском доме [61, 58 об.].

К Фонвизиной и Бобрищеву-Пушкину был близок по философским взглядам их друг, декабрист Петр Николаевич Свистунов, которому разрешили поселиться в Тобольске в 1841 г. (после каторги и поселения в с. Индийском и г. Кургане). Именно он и передал потом Л. Н. Толстому рукопись Наталии Дмитриевны. Глубоким стариком Свистунов продиктовал своей дочери биографию

Фонвизиной, содержащую некоторые сведения и о тобольском кружке*.

К кружку принадлежали, по-видимому, и Францевы. В своих воспоминаниях М. Д. Францева называет Фонвизиных, Свистуновых и Бобрщцева-Пушкина в числе ближайших друзей своей семьи. В рассказанном ею эпизоде о строительстве церкви в Подрезово (25 верст от Тобольска), где жила бывшая крепостная крестьянка Татьяна Филипповна Земляничина, связанная в течение многих лет дружбой с Натальей Дмитриевной и ее окружением, Францевы выступают в качестве активных участников. Францев-отец собирал средства на строительство (архитектурный проект, план строительства и сметы были составлены Бобрщцевым-Пушкиным, он же следил за работами; Фонвизина написала иконы). На освящение церкви Францевы отправились вместе с Фонвизиными, Свистуновыми и Пушкиным водой по Иртышу; встречала их вся деревня. В ожидании всенощной с певчими расположились на ночлег в избах братьев Татьяны Филипповны [3, 6, 615].

Из местных жителей видное место в кружке занимала Екатерина Федоровна Непряхина — дочь инспектора Тобольской врачебной управы, образованная женщина, владевшая немецким языком, занимавшаяся живописью, страстно увлекавшаяся музыкой. В молодости она получила предложение от княгини Гагариной быть воспитательницей ее детей, но осталась в Тобольске по настоянию своего духовного руководителя — главы Алтайской миссии Макария Глухарева [9, 2, 1 об.— 6 об.; 9, 4, 9]. Сохранилось несколько десятков писем Непряхиной к Наталье Дмитриевне. Женщины переписывались, живя в одном городе, чтобы полнее излагать свои взгляды, откровеннее вести самоанализ. Нередко письмо писалось в тот же день, когда была встреча. В письмах Непряхиной выражено отношение к Фонвизиной как настаивающей, «разгадывающей» ее, т. е. понимающей ее лучше, чем она сама. В центре внимания — путь «внутренней жизни», как путь «очищения, просвещения и совершен-

* Карандашная запись биографии Н. Д. Пуцзиной (Фонвизиной), сделанная Свистуновой под диктовку отца, хранится в ИРЛИ, в архиве В. П. Бурешина [63, 1—8 об.], который получил ее от М. И. Семевского, издателя «Русской старины». В архиве «Русской старины» — копия этой биографии [51, 2155, 1—5]. См. также письма П. И. Свистунова к Н. Д. Фонвизиной [9, 55, 1—12].

ния» [9, 1, 2 п 20—23; 9, 4, 7—35]. В письмах Е. Ф. Непряхиной упоминаются книги и рукописи, которыми они обменивались с Наталией Дмитриевной. В их числе рукописи членов кружка: тетрадь какого-то перевода М. А. Фонвизина, письма Макария [9, 1, 14; 9, 3, 16 и 40].

Непряхина и Фонвизины были тесно связаны с семьей тобольского чиповника Петра Дмитриевича Жилина. В 1853 г. в письме жене М. А. Фонвизин назвал Петра Дмитриевича и Марию Александровну Жилиных в числе «добрых приятелей тобольских», о которых он вспоминал «с любовью и благодарностью» [6, 56, 6]. Через Жилина шла почта Фонвизинам в Тобольск [64, 1 и след.]. В июле 1851 г. брат Фонвизина писал П. Д. Жилину, прося сообщить о смерти сына Фонвизиных Михаила под Одессой: «Я просил господина губернатора письмо мое передать Вам, дабы горестное это известие было получено друзьями моими в присутствии близких им по едипомыслию и дружескому расположению» [65, 1]. В переписке Непряхиной с Наталией Дмитриевной постоянно упоминаются Жилины [9, 1, 14 и 51 об.; 9, 2, 15 и 40; 9, 3, 1].

П. Д. Жилин известен как переписчик сибирских трудов М. А. Фонвизина (см. опись фонда Фонвизиных в РОГБЛ; 66, 60). Уже это говорит о большом доверии к нему. И уехав из Сибири, Михаил Александрович продолжал поручать Жилину переписку своих рукописей [6, 56, 8 об.; 7, 380].

Среди переписанных П. Д. Жилиным текстов — стихотворная полемика А. С. Пушкина с Филаретом (Дроздовым), заинтересовавшая тобольский кружок. Текст начинается знаменитым стихотворением Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», затем идет реакция Филарета — стих «Не напрасно, не случайно...». Цикл завершается в рукописи Жилина стихотворением Пушкина «В часы забав или праждной скуки», близким по настроению кружку и справедливо воспринятым как отклик на обращение Филарета [67, 11, 1—2].

Из ялуторовских декабристов к тобольскому кружку тяготели по своим убеждениям Евгений Петрович Оболенский и Матвей Иванович Муравьев-Апостол. О дружеских отношениях Оболенского и Наталии Дмитриевны свидетельствует их переписка как сибирского периода, так и более поздняя (1858—1864 гг.) [61, 1—60]. В во-

просах религиозно-философских он занимал, по-видимому, в сибирских спорах, особую позицию. Об этом писал С. Я. Знаменский Фонвизиной из Ялуторовска в 1844 г.: «Односторонность Евг. Петр. может точно сбить с толку, если пуститься толковать и перетолковывать, от чего я решительно начал уклоняться; на опыте узнал, что от споров, кроме внутренней пустоты, смущения, ничего не происходит. Впрочем, его сердце преисполнено любви, но любви, если можно сказать, не очищенной, или, иначе, неподходящей еще к той любви, о которой писал Апостол Павел, и это говорю не в осуждение его» [37, 16, 5]. Впоследствии, после возвращения из ссылки, Оболенский довольно регулярно переписывался с М. И. Муравьевым-Апостолом; переписка их свидетельствует о единомыслии во многих общественно-политических и философских вопросах.

М. И. Муравьев-Апостол в Петропавловской крепости сделал пометы на страницах Евангелия: «Только в горести наша святая религия предстает во всей своей красоте. Поняв все — а это свойство божества — делаешься снисходительным; только посредственность не умеет ни сострадать, ни прощать». И еще там же: «...есть возраст в жизни, когда не успев еще перестрадать (ибо лишь страдание развивает наш ум — сама же природа действует лишь усилиями), мы применяем наш рассудок к тому, что не подлежит рассуждению. Я верю, потому что это нелепо — это весьма глубокая мысль». «Христианская религия — религия чувства. Ее надо понимать сердцем, ибо сердцем обычно постигается великое» [68, 12—17]. В ялуторовских обсуждениях и размышлениях 40-х годов Муравьев-Апостол испытывал определенное влияние Свистунова и Фонвизиной. «С приездом Петра Никол. (Свистунова — М. Г.) Матвей Иванович в мыслях своих очень приметно изменился и в спорах (...) держит сторону Петра Николаевича» (из письма Знаменского Наталии Дмитриевне 31 августа 1844 г. [37, 16, 19 об.]). В это время Муравьев дважды брал, чтобы переписать для себя, рукопись Фонвизиной, содержащую ее собственное толкование молитвы «Отче наш» [37, 16, 21 и 29]. Рукопись эта была очень популярна в их кружке; ее упоминают Непряхина, Знаменский, Свистунов, Францева.

С Достоевским М. И. Муравьев-Апостол был сначала знаком заочно, через Врангеля. Непосредственное знакомство состоялось в 1859 г., после отъезда писателя из

Семипалатинска [69, 251]. Федор Михайлович поддерживал отношения с Матвеем Ивановичем и в последние годы жизни. В Записной тетради 1875—1876 гг. в числе лиц, к которым нужно съездить, Достоевский записал воспитанницу Муравьева-Апостола Августу Павловну Созонович. В другом месте тетради фигурирует ее адрес. В этот же период Матвей Иванович просил воспитанницу: «Федору Михайловичу скажи мой дружеский привет» [50, 467—468]. А. П. Созонович писала жене Достоевского 7 мая 1879 г.: «Матвей Иванович благодарит за память Федора Михайловича». Из другого ее письма видно глубокое удовлетворение М. И. Муравьева-Апостола педями «Братьев Карамазовых» и «Дневника писателя» [21, 481 и 485]. О Матвее Ивановиче написал Достоевский жене 2—3 июня 1880 г. из Москвы: «К Муравьеву съезжу, если найду время» [1, 4, 165].

В окружение Н. Д. Фоввизиной входили и некоторые лица из местного духовенства — те из них, кто принимал участие в просвещении населения края. В их числе Макарий Глухарев — создатель письменности алтайских тюрков, основанной на русском алфавите [70, 199—201; 71, 484]. Архимандрит Макарий возглавлял Алтайскую миссию; он основал две школы (мужскую и женскую) для детей алтайцев, ставших оседлыми. По делам этих двух школ и походной церкви он и приезжал дважды в год в Тобольск. Этот русский миссионер знал греческий, латинский, древнееврейский, английский, немецкий и французский языки. Синод отказался напечатать перевод части Библии на русский язык, сделанный Макарием [3, 6, 612—613; 72, д. 21—24; 73]. М. Д. Францева, которая познакомилась с Макарием в доме у Непряхиной, отметила в воспоминаниях его продолжительную беседу у Фоввизиных [3, 6, 613]. О контактах Наталии Дмитриевны с учредителем Алтайской миссии свидетельствовал и П. Н. Свистунов [51, 2155, 3—3 об.; 63, 3—4]. В письмах Е. Ф. Непряхиной к Наталии Дмитриевне, как и в переписке Знаменского с Фоввизиной, упоминается Макарий, его письма, его суждения [9, 1, 27—28 об.; 9, 2, 6 об. и 8; 9, 3, 16 и 40 и др.; 37, 16, 18].

В 1850 г., описывая И. А. Фоввизину свои беседы с петрашевцами, Н. Д. Фоввизина вспоминала миссионера: «Мне припомнится теперь, что нам говорил покойный Алтайский Макарий. Когда он хлопотал, чтобы напечатать по-русски Библию, и спрашивал, отчего за-

прещено перепечатывание Нового Завета, в Синоде ему ответили, потому что в Св. Писании паходится много опасных мест и даже в Новом Завете, как напр. слова: Упраздняйте всякое начальство и власть. Опасно, чтобы читающим не подано мысли о упразднении власти. Макарий отвечал: но если это слово пророческое, оно всячески исполнится. Ему отвечали: так и не надо, чтобы об этом пророчестве знали. По-славянски не так понятно и при том в чтении церковном не заметят, а читая сразу до смысла дойдет. На Макария после того дулись» [59, 13, 5—8]. Кружку Фонвизиной были близки социальные аспекты христианства. На Алтае Макарий столкнулся с беззастенчивой деятельностью винооторговцев (откуп казенной монополии) и обратился по этому поводу к императору. Николай I счел письмо Макария дерзким и приказал Синоду удалить его в Соловецкий монастырь. Синод с трудом отстоял Глухарева: ему было сделано строгое внушение.

Рассказы о жизни Макария Глухарева, его простоте в общении, о доступности для желающих беседовать с ним ходили по Западной Сибири. Достоевский должен был слышать о нем в Омске, Семипалатинске и в поездках своих на Алтай. По-видимому, ассоциации с Макарием Глухаревым участвовали в создании образа Старца в «Братьях Карамазовых». Первоначально, в подготовительных материалах к роману, Достоевский называет его Макарием, а не Зосимой. В черновых набросках к первой части романа Достоевский записал: «Слова. Говорили, Макарий видит по глазам». И еще в двух местах: «Настоятель скита и Макарий, еще ученый монах». «— Макарий к Ивану: „А вы вашей статьей“— и т. д.» [14, 15, 200 и 210—211].

Из-за большого разрыва во времени между получением в Сибири сведений о Макарии и началом работы над «Братьями Карамазовыми» такое предположение может показаться натяжкой. Однако место других сибирских воспоминаний среди жизненных источников романа столь значительно, что снимает это сомнение. Широко известно, что Д. Н. Ильинский, отбывавший каторгу одновременно с Достоевским по обвинению в отцеубийстве, оказавшемуся ложным, послужил прототипом Дмитрия Карамазова [74, 129—138; 75, 119—124].

Примечательно, что старика-монаха из окружения Зосимы, «захожего из одной дальней северной малоизвест-

пой обители», Достоевский связывал с сибирскими впечатлениями: он называет его обдорским иноком и обдорским гостем [14, 14, 296 и 302]. В черновых набросках к роману тоже назван «захожий монашек из Обдорска», «обдорский монашек» [14, 15, 217 и 256].

Макарий Глухарев приехал в Сибирь для создания миссии в Обдорске, но в Тобольске получил иное назначение — на Алтай. Все это было задолго до приезда Достоевского в Сибирь (Макарий возглавлял Алтайскую миссию с 1830 по 1844 г.). Но в 1856 г. была опубликована книжка, в которой подробно рассказывалось о деятельности Глухарева в Сибири. Автор ее — С. Ландышев, сменивший Макария в миссии в августе 1857 г., посетил Семипалатинск и там подарил свою книжку Н. А. Абрамову (последний сообщал об этом в письме к А. И. Сулоцкому) [15, 105, 9 об.]. Таким образом, не только рассказы, но и материал о Глухареве был доступен Федору Михайловичу (напомним, что именно Н. А. Абрамова и Достоевского назвал Врангель в качестве лиц, с которыми он более всего общается в Семипалатинске).

Сулоцкий несомненно тоже принадлежал к кружку Фонвизиной. Когда по окончании Петербургской духовной академии он был назначен в 1838 г. учителем греческого языка и церковной истории в Тобольскую духовную семинарию, то приехал в город почти одновременно с Фонвизинными. Вся позднейшая переписка его из Омска (в 1845 г. переведен в кадетский корпус) с Михаилом Александровичем и Наталией Дмитриевной свидетельствует о тесных контактах тобольского периода. К А. И. Сулоцкому мы еще обратимся в следующей главе.

Имя Степана Яковлевича Знаменского хорошо известно специалистам по сибирской ссылке декабристов как имя человека, сотрудничавшего с И. Д. Якушкиным в организации ланкастерских школ [76, 47—91; 58, 15—21; 5, 649; 77, 79; 78, 85 и 102; 79, 200]. Академик Н. М. Дружинин, исследовавший ланкастерские школы, писал по этому поводу: «В 1839 году в Ялуторовск был переведен из Тобольска священник С. Я. Знаменский, близкий знакомый Фон-Визиных, Свистунова и Бобринцева-Пушкина. Якушкин нашел в нем активного сторонника своей идеи — организовать народную школу для городского и крестьянского населения. В совместных беседах был разработан план — опереться на синодские указы 1836—1837 годов об открытии церковноприходских

училищ, возбудить инициативу ялуторовского общества и широко использовать ланкастерский метод обучения» [76, 47].

Ялуторовская школа И. Д. Якушкина рождалась и развивалась в противоборстве с местным начальством. В ноябре 1842 г. И. И. Пущин писал Якушкину из Тобольска: «Вы нам ничего не говорите о Ваших школьных делах, между тем Михаил Александрович (Фонвизин.— М. Г.) стороной узнал, что снова было нападение от Лукина (смотритель уездного училища.— М. Г.) и что по этому акту губернатор писал городничему о запрещении Вашей учебной деятельности. Вчера был Фелицын и между прочим высказал, что консистория получила отзыв от Степана Яковлевича. Это можно догадываться из его горькорадостного вида, с которым он произнес: «Вот Знаменский может под суд идти. Он же человек святой и строгих правил. Никого не слушается». К тому же он прибавил положительно, что консистория имеет бумагу от губернатора, который просит внушить Знаменскому что-то на ваш и на его счет» [76, 87].

Степан Яковлевич в большей или меньшей степени был близок со всеми декабристами курганской, ялуторовской и тобольской колоний. В переписке их постоянно мелькает его имя. В опубликованных письмах Якушкина к Пущину за 1841—1842 гг. С. Я. Знаменский упоминается не менее десяти раз, всегда с неизменной благожелательностью и теплом [5, 268—297]. Неоднократно Якушкин писал и самому Знаменскому — по делам школ и просто по дружбе [5, 321—439]. Степан Яковлевич охотно брался передавать письма, книги, рукописи декабристов. В июне 1840 г. И. И. Пущин писал А. П. Барятинскому: «Скажи Павлу Сергеевичу (Бобрицеву-Пушкину.— М. Г.), что я сегодня не могу ответить на его письмо с Степаном Яковлевичем». И здесь же: «Степан Яковлевич привез два экземпляра произведения Кюхельбекера **Нашла коса на камень** с надписью самого автора мне и Оболенскому» [44, 151—152]. Или: «Отец Степан, верно, привозил и отвозил фолианты...» (письмо Пущина Фонвизиной, апрель 1841 г.) [44, 170].

Эта деятельность Знаменского тоже вызывала нарекания начальства, и Сулоцкий с беспокойством сообщал ему из Омска о разговоре губернатора с архиепископом: светская власть упрекала духовную в том, что священник содействует государственным преступникам. Речь шла,

в частности, о тех случаях, когда Степан Яковлевич брал от М. А. Фонвизина «письма к его товарищам по несчастью» и «еще когда-то» пересылал «от них (от ялutorовских) к нему в письмах к своему сыну Николеньке». Сулоцкий цитировал губернатора: «Я мог бы его (Знаменского.— М. Г.) остановить на дороге и обыскать» [8, 116, 70]. (Это был момент, когда губернатор Горчаков всячески выражал свое недовольство Фонвизинными и Францевым. С переменой губернатора обстановка несколько разрядилась.)

Сохранилось много теплых отзывов о С. Я. Знаменском декабристов, их родных и друзей. «Почтенному отцу Степану скажите все, что можете лучшего от меня,— просил Пущин Якушкина.— Встреча таких людей, как он, во всех отношениях приятна и утешительна. Не давайте ему хворать». Ему же в другом письме: «Отцу Стефану миллион приятных вещей: я с истинным утешением останавливаю мысль на этом чистом и благородном создании» [44, 163 и 175]. Высоко оценил Знаменского в своих воспоминаниях Е. П. Оболенский [80, 195]. Воспитанница М. И. Муравьева-Апостола А. П. Созонович помнила о нем и в конце 80-х годов посвятила ему несколько страниц в своих «Заметках». «Между священниками Тобольской губ. прот. Стефан Яковлевич считался чудачком, потому, что имея шестерых детей, жил добровольно в нужде, тогда как около раскольников мог легко нажить десятки тысяч рублей, не мешая таким же путем богатеть и прочим. За отступление от общего правила сослуживцы сначала часто подводили его под неприятности. Стефан Яковлевич при кротости и твердости характера молча переносил нападки, не изменяя своих правил (...). Отъезд Стефана Яковлевича (из Ялutorовска.— М. Г.) оставил ощутительную пустоту в колонии декабристов, так как он, по своей врожденной порядочности, дополнял собою их кружок, хотя, вечно занятый, посещал его довольно редко» [81, 141—142].

Наиболее близкие отношения С. Я. Знаменский поддерживал с Фонвизинными. Он был духовником Наталии Дмитриевны; в их доме воспитывался его старший сын Николай. Второй сын — Михаил — также пользовался опекой и дружеским расположением четы Фонвизинных*.

* Михаил Степанович Знаменский — художник, литератор и краевед, автор воспоминаний о декабристах (см. о нем [58; 79, 200—234]). Николай Степанович Знаменский был директором То-

До нас дошла обширная переписка П. Д. Фонвизиной с С. Я. Знаменским, частично опубликованная в 1885 г. М. С. Знаменским [37, д. 12—17 и 20; 8, д. 85 и др.; 47, 207—252]. Переписка охватывала самые различные стороны жизни обеих семей, но особенно выражена в ней линия духовного поиска. Степан Яковлевич, имевший репутацию праведника и ободрявший Фонвизину в периоды сомнений и отчаяния, сам переживал временами то состояние борьбы веры и неверия, о котором писал Достоевский. Об этом свидетельствуют дневниковые заметки Знаменского, сохранившиеся в архиве его сына*.

Рукописи Знаменского отражают некоторые трактовки вопросов веры, имевшие хождение в кружке Фонвизиной. «Добрый всегда во храме божьем; ибо ум его и сердце составляют храм сей. Жизнь его есть вечное жертвоприношение, вечное священство всеобщему отцу — вечное богослужение; ибо познание и любовь его посвящают его во священника» [8, 63, 1].

В набросках Знаменского заметно внимание к задаче самопознания. Несколько тезисов, объединенных названием «Добрые и полезные наставления», начинаются с обоснования этой задачи: «Великая выгода познания себя самого состоит в том, что она доставляет человеку надежнейшее и постояннейшее господствование над самим собою». Далее эта мысль развита: «Истинное познание себя самого производит всегда смирение. Познание себя самого весьма споспешествует духу кротости и любви» [8, 63, 3—8].

Идея познания себя и господства над собою («господствовать над собою — самое трудное») как пути достижения смиренной любви («Смирение есть самая страшная сила, какая только может на свете быть!» [14, 9, 270]; «Смирение любовное — страшная сила, πιο всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего» [14, 14, 289]) многогранно раскрыта в творчестве Достоевского. Наибо-

льшого детского приюта. Оба брата детство и молодость провели в среде ссыльных декабристов и много помогали им в реализации внецензурных связей. Их имена, как и имя отца, постоянно мелькают в переписке круга декабристов.

* Так, 25 июня 1847 г. он записал: «Теперь нравственное мое состояние далеко не то, каково было в 1842 г. Страсть сердца и плоти отвлекли от Бога. Душа моя уже не ощущает того непостижимого водительства Божья, которым она управлялась прежде. Мне странно было прочесть строки, писанные еще в 1842 году, но это так было — и едва ли возвратится» [8, 63, 15].

лее концентрированно она выражена, пожалуй, в Записной тетради за 1864 г.: «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я — и отдать это всё самовольно для всех. В самом деле: что станет делать лучший человек всё получивший, все сознавший и всемогущий? <...> Есть нечто гораздо высшее бога — чрева. Это — быть властелином и хозяином даже себя самого, своего я, пожертвовать этим я, отдать его — всем. В этой идее есть нечто неотразимо-прекрасное, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое» [50, 248].

В «Некоторых размышлениях и правилах для каждого христианина», составивших 18 пунктов, С. Я. Знаменский выделит заповедь — люби ближнего как самого себя, предостерегая при этом от «превознесения» при исполнении добра и утверждая необходимость внутреннего побуждения к нему. Осуждая рабский страх без любви как двигатель поступков человека, Знаменский подходит также к видению образа Христа как критерия абсолютной нравственности [8, 63, 1 об. и 9—10 об.]. То же неоднократно встречается у Достоевского.

В одном из писем к Наталии Дмитриевне (15 ноября 1846 г.) Знаменский писал об особенности мира каждого человека при единстве конечной цели жизненного пути: «...у каждого были свои повороты и свои следы в дороге, а путь один; повороты и свои следы разумно оттого, что каждый отдельно взятый человек есть мир особый, с другим во многом не схожий, и свободою своей особый отличаться на дороге» [8, 95, 1 об.].

«О себе скажу тебе, что проклятое Я во мне очень, очень живо», — писал Знаменский Фонвизиной. И в другом случае: разум «везде хочет напизывать только себя, свои доводы и убеждения, и сколь бы они тверды сначала ни казались, под конец делаются как паутина, которую и малый ребенок духовный разорвет одним прикосновением. Блаженны те, кои познали нищету свою духовную, они ничего себе не приписывают, кроме падения и грехов, а за все доброе, что только в них и от них произойдет, приписывают Единому Господу, не словами только, но и от всего сердца <...> Но живому вполне сказать еще того нельзя, тогда только можно, когда извилистое, гибкое, хитрое Я получит в самую голову смертельный удар...» [37, 14, 3 об.; 37, 15, 6]. В известной записи Достоевского, сделанной 16 апреля 1864 г., развивается близкая мысль: «Возлюбить человека, как самого себя по зацо-

веди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. — Между тем, после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, создал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии оба, и я и все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо» [50, 173].

Некоторое сходство взглядов С. Я. Знаменского с философскими идеями Достоевского представляет интерес для характеристики мыслей и настроений кружка Фонвизиной, с которым писатель соприкоснулся в Сибири. Что касается возможности непосредственных контактов Федора Михайловича со Знаменским, то есть определенные основания считать ее реальной.

В конце 1853 г. Степан Яковлевич был переведен решением Консистории из Ялуторовска в Омск. Он был назначен протоиереем Воскресенского собора — на место умершего Д. С. Пономарева — и в декабре 1853 г. уже служил в Омске [25, 3532, 55—56; 81, 141; 8, 56, 8]. Этот пост предполагал непосредственное общение с арестантами Омского острога. Ведь именно поэтому И. В. Ждан-Пушкин и А. И. Сулоцкий, налаживая по просьбе Фонвизиных в 1850 г. контакты с Достоевским и Дуровым, возлагали определенные надежды на Д. С. Пономарева (см. об этом в первой главе). Тогда Сулоцкий писал по этому поводу Фонвизиным: «...протоперей Пономарев <...> для Сергея Фед. и Достоевского мог бы быть тем же, чем был и есть в своем месте и для известных лиц Степан Яковлевич» [9, 67, 2 об.]. Сулоцкий имел в виду близость С. Я. Знаменского с декабристами. Теперь случилось так, что Знаменский сам оказался на этой должности. Но это были уже последние

месяцы пребывания петрашевцев в омской каторжной тюрьме.

Знаменский знал о двух литераторах, отбывавших каторгу в Омске. Во-первых, судьба их обсуждалась в кругу ялutorовских и тобольских декабристов (судя, например, по письму И. И. Пущина к Г. С. Батенькову [44, 253]), в особенности в доме Фонвизинных. Во-вторых, есть прямое об этом свидетельство: письмо Сулоцкого в Ялutorовск к С. Я. Знаменскому от 12 марта 1850 г. с сообщением о приезде в Омск Дурова и Достоевского и хлопотах о них Наталии Дмитриевны: «В Омск в крепостные работы из новых заговорщиков или, что то же, несчастных мечтателей присланы двое — оба литераторы — Сергей Ф. Дуров и Достоевский. Первый из них близкий родственник Нат. Дмитр. Фон-Визинной. Я, как инспектор и как другие лица, сколько ни стараемся проникнуть к ним и облегчить их участь, хотя бы чем-ниб[удь], напр[имер], беседой; но почти решительно никакого не имеем успеха. Впрочем, слышно, что обходятся с ними не сурово... Бедная Наталья Дмитриевна из-за гг. мечтателей ни днем, ни ночью не имеет покоя, харкает даже кровью. Успокойте ее хотя возможностью уповать на Бога и надеждою на наш успех» [8, 116, 53 об.]. Кроме того, Степан Яковлевич знал Достоевского как писателя. Ведь это именно он прислал Фонвизинной в марте 1851 г. в посылке «Бедных людей»*.

В омское окружение Знаменского вошли лица, связанные уже в предыдущие годы с Достоевским. В их числе — А. И. Сулоцкий, И. И. Троицкий, Анна Андреевна де Граве.

* В семье Знаменских и впоследствии следили за творчеством Ф. М. Достоевского. Михаил Степанович писал сестре Александре в Омск: «Читать нечего <...> В Рус[ском] Вест[нике] только и было хорошего — роман Диккенса, да начатая повесть Достоевского» [8, 188, 8 об.] Сибирский художник осуществил серию иллюстраций к «Запискам из Мертвого дома» [8, 39; 58, 120]. Возможно, в этой связи Михаил и просил сестру Александру прислать ему в Тобольск план Омского острога (присланный ею рисунок сохранился [8, 46, 11]). На обороте надпись: «Добрый брат Миша! Посылаю тебе вид с острога, извини, какой есть, кого только я не просила нарисовать, все откладывали, но наконец нашелся какой-то, и сама не знаю кто, да и свято-то плохо, ну да ты переделаешь по-своему...» Подпись — А. З. (Опубликовано В. С. Любимовой-Дороватовской [82, 28]). Этот рисунок стал единственным иллюстративным документом, передающим облик каторжной тюрьмы, где содержался Достоевский. Он же лег в основу акварели М. С. Знаменского «Омский острог».

На фоне всей этой информации становится очевидным, что С. Я. Знаменский, приехав в Омск, должен был встречаться с Достоевским и Дуровым. В нашем распоряжении нет пока писем, написанных Степаном Яковлевичем в первые месяцы пребывания в Омске. Дальнейшие разыскания, возможно, позволят найти прямые свидетельства этих встреч. Такие сведения могут быть, разумеется, лишь в письмах, доставлявшихся вне официальной почты.

В Омске Знаменский сохранял тесную связь с кругом декабристов. Этому способствовало и то обстоятельство, что там он организовал женскую школу с ланкастерским методом обучения, по типу основанных ранее декабристами в Ялуторовске и Тобольске *. И. Д. Якушкин встречался с ним летом 1854 г. в Омске. Сохранилась записка декабриста к Степану Яковлевичу от 12 июля 1854 г.: «Сейчас я приехал в Омск и явился бы к вам, если бы ноги ходили. Скажите, когда и где мы с вами увидимся. Посылаю письмо от Оболенского» [5, 377]. А 10 сентября этого же года Якушкин писал Знаменскому в Омск из Иркутска: «Расставшись с вами, любезный друг, без дальних приключений мы добрались до Томска; тут пришлось прожить целую неделю в ожидании повеления из Омска отправить меня далее и потом в ожидании исполнения этого повеления. Все это время я приятно провел в обществе Гавриила Степановича Батенькова. Вы мне не сказали, что братец ваш служит в Томске, и я, увидав его неожиданно, очень ему обрадовался; и он и все его семейство здоровы...» [5, 386].

О сохранении теплых дружеских отношений между Якушкиным и Знаменским в последующие годы говорит и письмо Ивана Дмитриевича от 8 сентября 1856 г.: «Очень мне было прискорбно мнновать Омск и тем лишить себя радости обнять вас и всех ваших. Получив

* 22 января 1854 г. И. Д. Якушкин писал из Ялуторовска в Омск С. Я. Знаменскому: «Очень порадовался, увидя из письма Вашего, что страстишка в вас к заведению училищ и к распространению образования не прекратилась, и от всей души желаю вам успеха. Вы меня знаете и можете быть уверены, что где бы я ни был, я всегда буду сочувствовать вашим добрым стремлениям на этом прекрасном поприще» [5, 372]. «Как сказать о том, что мы ощущаем без вас,— писал Знаменскому Е. П. Оболенский 18 января 1854 г.— Ваше место, при всем том, что оно занято другим, остается пусто: там, где нет сочувствия сердечного, к тому нет и сердечного влечения...» [83, 101].

письмо от Натальи Дмитриевны, в котором она приглашала меня приехать повидаться с ней в Ялуторовск и вместе с тем писала ко мне, что останется в Сибири не далее как до конца августа, несмотря на мою хворость, я тотчас обратился в путь; Вечеслава (сын Якушкина.— М. Г.) отпустили со мною, и мы спешили усердно, но на дороге встретились задержки, которых мы не предвидели; заехав в Омск пришлось бы, может быть, не застать Наталью Дмитриевну в Ялуторовске, и я с сокрушенным сердцем из Арбатской решился ехать кратчайшим путем, миновав ваш город. Утешаю себя мыслию, что мы с вами и вдалеке друг другу близки и заочно без слов друг друга понимаем.

Очень меня порадовали Яков Дмитриевич и Наталья Дмитриевна известиями о вашем училище, в котором все так прекрасно устроилось при усердном участии благородной вашей сотрудницы...» [5, 440].

Речь здесь идет о приезде Натальи Дмитриевны Фонвизиной в Сибирь из своего имения Марьино в 1856 г. Она отправилась в это вторичное добровольное путешествие за Урал тайком, опасаясь препятствий со стороны властей, так как предстояли встречи с декабристами, оставшимися на положении ссыльных (посвящена в замысел была лишь Мария Францева, жившая в это время у Фонвизиной). П. Н. Свистунов отметил (в биографии Н. Д. Фонвизиной) в числе друзей, ради которых она приезжала в Сибирь в 1856 г., С. Я. Знаменского [51, 2155, 4]. Наталья Дмитриевна специально заезжала в Омск — об этом узнаем из письма Пущина к Нарышкиным (21 сентября 1856 г., из Ялуторовска): «Миша (Волконский.— М. Г.) застал здесь кроме нас, старожилов ялуторовских, Свистуновых и Наталью Дмитриевну, которую вы не можете отыскать. Она читала вместе со мною ваше письмо и, вероятно, скоро лично будет вам отвечать и благодарить по-своему за все, что вы об ней мне говорите, может быть, не подозревая, что оно ей прямо попало в руки. Словом, эта женщина сделала нам такой подарок, который я называю подвигом дружбы. Не знаю, как ее благодарить, хотя она уверяет, что поездка в Сибирь для нее подарок, а не для нас.

Два раза погостила в доме Бронникова: 3 июля явилась отрядным гостем в темную, дождливую ночь. Никто не верил, когда я утром возвестил о ее приезде. Тогда пробыла с нами до 15 июля.

Теперь, съездивши в Тобольск и Омск, [с] 25 августа опять с нами. Вместе отпраздновали Натальин день. Одних наших 23 человека было за столом с детьми. Это просто роскошь. Не поскучала остаться с нами до 14 сентября» [44, 309]. Эту поездку в Омск, Тобольск и Ялуторовск Фонвизина тепло вспоминала в июле 1859 г. в письме к Е. П. Оболенскому [61, 5 об.-6].

Тобольско-ялуторовский кружок декабристов и близких к ним лиц, объединявшихся вокруг Н. Д. Фонвизиной, обменивавшихся в письмах и беседах мнениями по религиозно-философским и нравственным вопросам, привлекал временами настороженное внимание светских и духовных властей. Жалобы на подозрение в ереси со стороны разных официальных и частных лиц встречаются на страницах писем Наталии Дмитриевны к Знаменскому в 40-е годы. Подобные разговоры ходили по Тобольску в 1842 г., и летом был сделан донос князю Горчакову о том, что декабристы и их жены составили какую-то секту. Михаилу Александровичу пришлось объясняться с жандармским генералом, а потом посылать частным порядком объяснение губернатору с просьбой «сделать исследование, чтобы убедиться в неосновательности доноса» [47, 221—223].

В июне 1844 г. генерал-губернатор П. Д. Горчаков расспрашивал прокурора о Татьяне Филипповне Земляничной и сообщил ему «по секрету», что получил из Петербурга запрос — не составили ли Фонвизины и Свистунов какую-то новую секту. Князь утверждал, что уже ответил на запрос отрицательно. Возможно, основания для подозрений начальства давали письма Наталии Дмитриевны и других, где обсуждались темы самоусовершенствования и духовного поиска, — часть писем попадала под цензуру. В сентябре 1844 г. Наталия Дмитриевна съездила в деревню к Земляничной, и после этого епископ Владимир завел с женой декабриста разговор об этой крестьянке, стараясь, как показалось Фонвизиной, отыскать признаки каких-то отклонений от православия. Предполагали, что был запрос и из Синода, аналогичный запросу светских властей. Глава Тобольской епархии делал попытки создать благотворительное общество с задачами «духовно-нравственного развития», по-видимому, в противовес кружку Фонвизиной [47, 212 и 228]*.

* Повышенный интерес к религиозно-нравственным вопросам, частые контакты определенного круга лиц, напряженный обмен

В такой обстановке епископ Владимир предложил Натальи Дмитриевне изложить письменно ее взгляд на молитву «Отче наш». Результатом явилась рукопись, которая имела потом хождение в среде декабристов [51, 2154]. Наличие списков этого текста говорит о хождении в среде декабристов и их окружения сочинений, исходивших из кружка. Передача и пересылка рукописей друг другу нередко упоминаются в письмах членов кружка. Об этом же свидетельствуют рукописи тобольского периода, отложившиеся в архиве Фонвизиных, трактующие евангельские тексты и некоторые вопросы веры [64, 5, 8а; 67, 9, 13]. В их числе автограф другого сочинения Н. Д. Фонвизиной — тетрадь в четверть листа, содержащая ее замечания к отдельным местам Евангелия, подчас достаточно вольные, проникнутые глубокой искренностью [67, 13, 8—31 об.]. По-видимому, именно это сочинение побывало у Л. Н. Толстого — он писал Свистунову о «тетради замечаний Фонвизиной». В этой рукописи есть мысли и настроения, перекликающиеся с более поздними записями Достоевского по аналогичным вопросам.

Сам Достоевский четко ощущал преемственность своих взглядов, складывавшихся в конце омского периода, с воззрениями 70-х годов. Приведем лишь одно, но исключительно выразительное, на наш взгляд, доказательство этого. В «Бесах» дословно повторена формулировка из омского письма Федора Михайловича Фонвизиной: «...если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истинной...» [14, 10, 198].

Общаясь прямо и косвенно с людьми сибирского окружения Фонвизиной, Достоевский имел возможность познакомиться с теми взглядами и нравственными идеалами, которые увлекли его в сочинениях Тихона Задон-

мнениями — все это могло создавать у некоторых знакомых Фонвизиной, не вникавших в существо взглядов, настороженность, подозрение в каком-то сектантстве. Именно так случилось со старшими Менделеевыми. Их недовольство усиливалось тем обстоятельством, что одна из их дочерей — болезненная Аполлинария — была слишком, до экзальтации увлечена настроениями Е. Ф. Непряхиной; в ущерб своему здоровью, как полагали родители, помогала ей в благотворительности и пр. Ее примеру следовала в какой-то мере и младшая сестра — Елизавета. Этот взгляд отразился в письмах М. Д. Менделеевой (матери химика) и попал в комментарий к ним ее внучки [84, 6—7 и 87].

ского *. В этом кругу знали Тихона Задонского. Р. Плетнев высказывал предположение о том, что Достоевский мог заинтересоваться творениями и жизнью Тихона Задонского еще в Сибири [86, 75]. Сейчас мы можем с большей уверенностью говорить об этом. В описи омского Воскресенского крепостного собора, составленной в 1856 г., есть запись: «Сочинения Тихона, еписк. Воронежского», изд. 1836—1837 гг., 8 книг [16, 38, 141 об.].

С. Я. Знаменский считал необходимым включать отрывки из сочинений Тихона Задонского в программы ланкастерских школ. 11 января 1855 г., рассказывая в письме к И. И. Пущину о делах своей омской школы, он просил узнать у ялutorовского инспектора училищ, «не присланы ли к нему из дирекции небольшие книжечки из сочинений Тихона Задонского; в бытность свою в Ялutorовске [т. е. ранее конца 1853 г.— М. Г.], я просил его выписать для детей на 3 р. сер., если присланы, то пусть доставит, я очень буду ему благодарен» [36, 50, 11].

Когда Федор Михайлович весной 1870 г. открывал в письме А. Н. Майкову свой сокровенный замысел вывести в новой повести «главной фигурой Тихона Задонского», он заметил: «Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом» [1, 2, 264].

Что значит для Достоевского «только выставить» какое-нибудь «действительное» лицо, знают не только специалисты. Но в словах писателя о человеке, который жил за сто лет до него, есть некоторый оттенок осязаемой действительности, который надо отнести, может быть, не только за счет силы воображения гения, но и за счет какого-то реального лица, мироощущение которого созвучно выраженному в сочинениях и жизнеописаниях Задонского.

В заметках к «Житию великого грешника», в которых обретал уже конкретность замысел, изложенный Майкову, Достоевский записал, в частности: «Тихон. О смирении (как могуче смирение). Все о смирении и о свободной воле». И еще: «Но он (и это главное) через Тихона овладел мыслью (убеждением): что, чтоб победить весь

* Об отношении Ф. М. Достоевского к Тихону Задонскому см. [85, 361—365], а также комментарий Т. А. Лапицкой [14, 9, 511—513].

мир, надо победить только себя» [14, 9, 138—139]. Идея господства над самим собою и смирения были присущи, как мы уже говорили, высказываниям С. Я. Знаменского.

Но вот следующий шаг в развитии образа у Достоевского — Тихон в «Бесах». Здесь он обретает плоть. «Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенной улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом» [14, 11, 6].

Все это соответствует облику Степана Яковлевича, как он выступает из описаний хорошо знавших его лиц. А. П. Созонович вспоминала, что он был «немного выше среднего роста, худощавый (...) кротость и спокойствие чистой совести отражались в его черных глазах, и одушевление его лица было как бы человека не от мира сего» [81, 140]. М. Путинцев, знавший Знаменского в те годы, когда его мог видеть Достоевский, пишет о «прекрасных задумчивых глазах» и «скромной рясе» [87, 79]. Болезненность Степана Яковлевича отмечали Сулоцкий, Фонвизины, Созонович. К этому следует добавить, что Знаменскому, когда он приехал в Омск, было около пятидесяти лет.

Дальнейшие сведения о Тихоне в «Бесах» тоже имеют соответствия в жизни Степана Яковлевича. «Николай Всеволодович узнал (...) что приходят к нему и из самого простого народа, и из знатнейших особ; что даже в отдаленном Петербурге есть у него горячие почитатели и преимущественно почитательницы» [14, 11, 6]. В письмах Знаменского упоминаются приходы к нему крестьян. В некрологе о нем Сулоцкий писал: «...лица знатного происхождения и высокого образования, но по несчастию жившие в Сибири (он имел в виду семьи декабристов.— М. Г.) (...) наперерыв искали его знакомства, избирали его себе в духовники и вообще в руководители в духовной жизни, вели с ним переписку даже и по возвращении в Россию...» [8, 94, 1; 88, 30, 408].

Но Ставрогин собрал сведения не только о популярности Тихона в разных слоях общества: «Зато услышал от одного осанистого нашего „клубного“ старичка, и старичка богомольного, что „этот Тихон чуть ли не сумасшедший, по крайней мере совершенно бездарное существо и, без сомнения, выпивает“. Прибавлю от себя, забегая впе-

ред, что последнее решительный вздор, а есть одна только закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам какие-то нервные судороги» [14, 11, 6]. Сулоцкий упомянул в биографии Знаменского рассказ его самого о том, как иногда прихожане думали, что он навеселе, когда, проехав верст 70 в деревню по плохой сибирской дороге, он выходил из экипажа, покачиваясь от усталости и болезненного состояния. В рассказах о болезнях Знаменского отмечалось, что «ноги его худо держали» [88, 32, 421; 88, 39, 507].

«Узнал тоже Николай Всеволодович, что проживавший на спокое архиерей, по слабости ли характера или „по непростительной и несвойственной его сану рассеянности“, не сумел внушить к себе, в самом монастыре, особого уважения. Говорили, что отец архимандрит, человек суровый и строгий относительно своих настоятельских обязанностей и, сверх того, известный ученостью, даже питал к нему некоторое будто бы враждебное чувство и осуждал его (не в глаза, а косвенно) в небрежном житии и чуть ли не в ереси» [14, 11, 6]. Выше речь уже шла о претензиях светского и духовного начальства к Степану Яковлевичу и об обвинениях в ереси всего кружка, к которому он принадлежал.

В рукописи С. Я. Знаменского «Добрые и полезные наставления» есть такая установка: «Когда хочешь кому подать добрый совет в пользу дела, то не говори тоном учительским, который всегда имеет нечто суровое, напротив с тихостью наставляй, советуй, увещевай примером...» [8, 63, 3 об.—4]. Подобный стиль поведения пронизывает всю сцену Тихона у Достоевского.

И наконец, слова о вере самого Тихона в его диалоге со Ставрогиным (— «Не совершенно верую.— Как? вы не совершенно? не вполне? — Да... может быть, и не в совершенстве» [14, 11, 10]) имеют аналогию в сомнениях и самокритичности Знаменского, отразившихся в его дневнике.

Во взглядах лиц круга Фонвизиной выступало еще одно направление, близкое творчеству Достоевского: патриотическое отношение к России, включавшее острое видение нужд страны, присущее участникам движения декабристов, и упор на своеобразие путей ее развития. Наиболее полно взгляды по этому вопросу представлены в сочинениях Михаила Александровича Фонвизина, написанных в сибирский период. Это последние Фонвизина

нуждается в специальном освещении [89, 197—230; 66, 59—72]. Мы коснемся здесь лишь отдельных аспектов его работ, существенных для передачи атмосферы кружка и возможного ее влияния на Достоевского. Фонвизин несомненно принадлежал к кружку. Но его социально-политические интересы были гораздо более выражены, чем у многих других членов.

Каждый из декабристов за долгий срок ссылки прошел свой путь развития убеждений. Чтобы восстановить взгляды, которые имели хождение в данном кругу в период, когда в Сибири находился Достоевский, уместно обратиться к рукописям, созданным в близкие сроки. К их числу принадлежит работа Фонвизина «О коммунизме и социализме», которая датируется самым концом 40-х — началом 50-х годов [51, 2949]*. По-видимому, толчком к написанию этой вещи послужили дело петрашевцев и проезд их в Сибирь; об интересе петрашевцев к социалистам-утопистам декабристы были осведомлены.

В этом сочинении Фонвизин, рассуждая (на основе гегелевской мысли) о призвании каждого исторического народа реализовать мировую идею, писал, что «и русский народ призван быть когда-нибудь в этом смысле народом историческим и призван из своих родных стихий развить новую мировую идею. Хотя в нашей России и много привилось инородного, иноплеменного, однако основные ее элементы чисто славянские. Не напрасно же Господу Богу угодно было дозволить чрезвычайное распространение нашего отечества в таких огромных размерах и с такою быстротою. Россия, раздвинувшись в Европу и в Азию, не принадлежит, однако, ни той ни другой части света. От Европы заимствовала она стремление к прогрессу — к совершенствованию, но в ней есть много из дикости Азии и ее неподвижности. Будучи по могуществу своему поставлена во главе славянских разъединенных племен, Россия рано или поздно, а необходимо должна увлечь их в свою политическую сферу в силу

* В тетради объединены три произведения М. А. Фонвизина: «О коммунизме и социализме», «Некоторые заметки к богословиям отцов архимандритов Макария и Антония» и «Одно из воспоминаний моей молодости». Общий подзаголовок — «Из записок Фон-Визина». Датировать можно по некоторым замечаниям в самих текстах. Автор упоминает, например, издание марта 1849 г., по поводу событий 1807 г. сказано, что с тех пор прошло 45 лет. О датировке см. также [66, 60—61]. Там же первая полная публикация этого сочинения.

общего естественного закона, по которому малые толщи всегда тяготеют к самой большой массе, с ними однородной, и притягиваются ею. Может быть, так называемый панславизм, о котором с таким пренебрежением отзываются немцы и французы, не есть порождение фантазии и не пустая мечта, как многие из них утверждают. Европейцы предчувствуют постоянно возрастающее исполинское могущество нашего отечества — страшатся его, и от этого их неприязнь к нему. Дальновидные из них знают прочность и долговечность России» [51, 2949, 17 об.—18 об.]. Далее следует обширная французская цитата из А. Токвиля, где выделены русские и англо-американцы как два великих народа («Как ни различны их точки отправления и их исторические пути, тем не менее каждая из них призвана Провидением к великой миродержавной роли»).

Нетрудно заметить, что направление мыслей Фонвизина предвосхищает некоторые страницы «Дневника писателя» и записных тетрадей Достоевского.

В еще большей мере это можно сказать о тех страницах рукописи, где Фонвизин касается вопросов развития русской крестьянской общины и взглядов крестьян на свои права на землю.

«Странный, однако, факт, — замечает декабрист, — может быть, многими и не замечен, — в России, государстве самодержавном и в котором в большом размере существует рабство, находится и главный элемент социалистических и коммунистических теорий (по пословице: *les extrêmes se touchent* *). Это — право общего владения землями четырех пятых всего населения России, т. е. всего земледельческого класса, — факт чрезвычайно важный для прочности будущего благоденствия нашего отечества. При огромном количестве порожних земель, с усовершенствованием волостных учреждений и с уничтожением крепостного состояния земледельцев, которое рано или поздно, а необходимо должно совершиться, если при этом освобожденные не останутся без земли» [51, 2949, 16 об.—17].

В этом месте Фонвизин сделал сноску, в которой кратко изложил свой проект освобождения крестьян: «Правительство может это сделать без обиды для владельцев, скупая в продолжении времени крестьян с половиною или третьей частью земель, представя владельцам удер-

* Крайности соприкасаются (*франц.*).

жать за собою усадьбу и половину земель с разными угодьями. Три четверти крепостных крестьян заложены в банках — Воспитательного дома, Заемном и Приказа общественного призрения. Это обстоятельство весьма может облегчить для Правительства покупку дворянских имений» [51, 2949, 17].

Выступления Достоевского-публициста относятся ко времени уже после манифеста 19 февраля 1861 г. Но реакция издававшегося им тогда журнала «Время» на ход реализации реформы — с горячей поддержкой интересов крестьян [90, 71—92] — близка к позиции Фонвизина. Что же касается роли крестьянской общины, увязывания ее с идеями утопического социализма и со значением земельных прав в обществе, то в этом переключка особенно заметна, если обратиться к статье Достоевского «Земля и дети», где он наиболее полно высказался по этим вопросам. Мы имеем в виду первичный, цензурный вариант этой статьи, так как в июльско-августовском «Дневнике писателя» за 1876 г. она вышла с большими купюрами [91, 111—114].

«Нет-с, позвольте; значит, русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли. Но всего здесь удивительнее то, что и после крепостного права народ остался с сущностью этой самой формулы и в огромном большинстве своем все еще не может вообразить себя без земли. Уж когда свободы без земли не хотели принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего, земля — все, а уж из земли у него и все остальное, то есть, и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, все, что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как община, удержал».

Достоевский дает свою (полностью выброшенную цензором) характеристику общины: «А что есть община? Да тяжелее крепостного права иной раз! Про общинное землевладение всяк толковал, всем известно, сколько в нём помехи экономическому хотя бы только развитию; но в то же время не лежит ли в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно как произойдет, но что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас у одних может сбыться, потому что явится не войною и бунтом, а опять-таки великим и общим согласием, а согласием потому, что за него и теперь даны великие жертвы» [91, 114; 55, 29466, 25 об.].

В сочинении М. А. Фонвизина «О коммунизме и социализме» та же мысль выражена так: «Россия может на многие века быть предохранена от пагубного пролетариата. Этим она будет обязана общественному владению землями своего земледельческого населения, если не по формальному праву, то по обычаю, который почти имеет власть закона, — обычаю древнему, коренному, и который так силен, что самые крепостные, признавая себя собственностью своих господ, считают землю, которую возделывают, своею собственностью и в этом вполне уверены. Волостному быту наших крестьян должно приписать и то, что самое рабство в России менее ужасно, нежели как оно было в феодальной Европе: у нас владелец имеет дело не столько с лицами, сколько с общиною, с миром, в котором естественно больше нравственной силы (по крайней мере *force d'inertie*), нежели в одном лице; тогда как отношения европейских феодалов были все к отдельным, вполне от них зависящим единицам. В Европе общины как остаток древних римских учреждений (муниципий) были в одних городах; а в России с незапамятных времен существовали сельские общины — волости, и это элемент чисто славянский» [51, 2949, 17 об.].

Для Достоевского определение крестьянских представлений о своих правах на землю было прочно связано позднее с именем декабриста И. Д. Якушкина (см. об этом главу 7). Но при постоянных контактах, которые существовали внутри ялуторовско-тобольской колонии декабристов, при активном многолетнем обмене мнениями трудно сказать, кто из них раньше высказал ту или иную мысль.

Рукописи Фонвизина неоднократно переписывались: об этом свидетельствуют и несколько списков «О коммунизме и социализме», отложившихся в разных фондах, и указание в его письме о передаче какой-то рукописи переписчику Жилину, и существование экземпляра «Примечаний к "Histoire philosophique et politique de Russie"», имеющего авторскую подпись И. И. Пущину, сделанную 16 февраля 1853 г., и вторичную надпись — от Пущина П. В. Зиновьеву 26 декабря 1855 г. [51, 2948, 1].

Есть прямое свидетельство о пересылках сочинений Фонвизина в рукописях в Омск А. И. Сулоцкому. Знаменский спрашивал Фонвизина в письме: «Любезный! Михайло Александрович! смею спросить: тетрадь Вашу Вам обратить или к Сулоцкому отослать?» [37, 19, 46]. Факты

переписки Достоевского во второй половине 50-х годов через надежных лиц с Анной Андреевной де Граве, сотрудничавшей с С. Я. Знаменским, открывают один из возможных способов попадания рукописей из кружка Фонвизиной к писателю в Семипалатинск.

Но дело не только в возможности знакомства Достоевского с рукописью, а более в самом факте, что приведенные выше взгляды выражались в первой половине 50-х годов в Сибири, в том кругу, с которым соприкасался писатель в Омске и Семипалатинске.

Интересно в этом плане отношение круга Фонвизиной к П. Я. Чаадаеву. М. И. Муравьев-Апостол, который хорошо знал Чаадаева в молодости, заметил в своих воспоминаниях: "La Russie n'a ni passé, ni avenir"* . Человек, который участвовал в походе 1812 года и который мог это написать, — положительно сошел с ума. Понимаю негодование А. С. Хомякова, К. С. Аксакова и всякого искренно русского. — Бедный Петр Яковлевич Чаадаев!» [68, 48—49]. У Достоевского — то же настроение горького упрека в адрес тех западников, «которые до того боготворили Запад перед Россией, что перешли в католичество» [50, 530].

Отношение к прошлому и будущему России, созвучное взглядам Достоевского, прослеживается в поздних (после возвращения из Сибири) письмах Е. П. Оболенского к М. И. Муравьеву-Апостолу, Н. Д. Фонвизиной — к Оболенскому [81, 72 и 85, 90 и 93; 61, 19, 35 об. — 36].

Глава шестая

У ИСТОКОВ ОБРАЗА

Наталли Дмитриевне был обязан Достоевский знакомством с Александром Ивановичем Сулоцким, к письмам которого Фонвизиним мы уже обращались неоднократно. До омской службы Сулоцкий многие годы жил в Тобольске и там сблизился с декабристамп. Сохранилось свыше тридцати писем его в Ялуторовск к С. Я. Знаменскому. Письма относятся к 1840—1852 гг. Все они насыщены информацией о самых разных сторонах местной культурной

* Россия не имеет ни прошлого, ни будущего (франц.).

жизни. В круг знакомых Сулоцкого входили поэт П. П. Ершов, известный историк Сибири П. А. Словцов, краевед, член Географического общества П. А. Абрамов [8, 116, 7—8 об. и 23 об., 64 об.].

Но чаще всего в письмах мелькают имена декабристов; в них мы находим сведения о жизни В. И. Штейнгеля в Таре, известия для М. И. Муравьева-Апостола и П. Д. Якушкина и постоянные приветы им обоим, упоминания в связи с тобольскими повестями Фонвизинных, П. С. Бобринцева-Пушкина, Ф. Б. Вольфа, П. И. Свистунова, просьбу к О. И. Басаргиной и т. п.

«Письмо Ваше получил бы,— писал Сулоцкий Знаменскому,— но с Матвеем Ивановичем Муравьевым только еще надеюсь видеться: он, по уверению Михаила Александровича и Павла Сергеевича, будет ко мне» [8, 116, 66]. А И. И. Пущин на своем письме Кюхельбекеру написал: «Прошу покорно почтенного Александра Ивановича доставить это письмо Вильгельму Карловичу» [44, 218]. Эта просьба адресована Сулоцкому.

Провинциальный преподаватель семинарии ценил и бережно поддерживал эти контакты. Когда Фонвизины попросили его о помощи Дурову и Достоевскому, он думал, что, исполнив эту просьбу, сможет «хоть немного отблагодарить за радушие», «за приятное и интересное препровождение времени». Кроме того, надеялся пайти «в этих несчастных и в Омске таких же умных собеседников и добрых людей, каких я имел в Тобольске и Ялуторовске» [9, 67, 2, 1 об.].

Сулоцкий много и кропотливо работал над изучением истории края, в частности истории церкви в Сибири. Ему принадлежит около ста работ, опубликованных в центральных и сибирских изданиях в 50—70-е годы прошлого века. Сюжеты их достаточно многообразны: сведения о местных библиотеках и детальные описания церквей и монастырей, история учебных заведений и театра, рассказы о миссионерской деятельности, о старинных обычаях, данные о сибирском иконописании и биографии отдельных лиц из духовенства, история сибирской ссылки княжны Долгорукой и публикации отдельных документов из местных архивов [92]. Написанные неярко, даже скучновато, они проникнуты добросовестным стремлением восстановить достоверные факты.

Характерно в этом отношении письмо Сулоцкого к Ивану Сергеевичу Аксакову, написанное в 1862 г. из

Омска, где он оставался, как и при Достоевском, преподавателем кадетского корпуса. Речь шла о публикации в газете «День» статьи Сулоцкого, уточняющей ряд обстоятельств в биографии Арсения Мацеевича. Ссылаясь на опубликованные уже в издании Аксакова статьи на эту же тему, Александр Иванович заверял, что целью и его труда является «разъяснение истины и большая полнота сведений» о «любопытной личности» ростовского, а потом тобольского митрополита.

Декабристы, бережно лелеявшие каждый росток культуры, замеченный ими в сибирском окружении, помогали Сулоцкому в его исторических разысканиях. В письмах к Фонвизинным омский законоучитель благодарит их за сообщенные по его просьбе сведения, присланные книги, делится своими научными планами. У молодежи кадетского корпуса Сулоцкий пользовался популярностью. Лекции и проповеди его считались яркими, по торжественным случаям послушать его съезжалась омская знать. Последствия его популярности были несколько неожиданными для кадетского корпуса: некоторые выпускники стали духовными лицами [19, 84—85]. Держался он довольно независимо, и это располагало молодежь. «До какой степени он паивен был в отношении к цензурным требованиям,— пишет о Сулоцком Г. П. Потанин, закончивший при нем корпус,— об этом засвидетельствовал один случай. В Омск приехал из Петербурга для ревизии генерал-адъютант Анненков. В день восшествия на престол императора Николая I был парад и молебен в городском соборе; за обедней о. Сулоцкий говорил проповедь о значении миропомазания. Ему хотелось как можно резко выразить, какая сила перерождения заключается в этом таинстве (...) разъяснив, что такое значит священная особа императора, оратор задал вопрос: а что же такое был император Николай I до помазания? и ответил: всего только кирасирский полковник» [12, 256—257]. Петербургский генерал «сильно смутился», но инцидент удалось замять: Н. Н. Анненков — двоюродный брат декабриста — считался с мнением ялуторовско-тобольской колонии. Такой же стиль проскальзывает и в письмах Сулоцкого, когда он замечает, например, что майор Кривцов «корчит роль превеликого монархиста» [9, 67, 5]. Петрашевцы для него были «новые заговорщики или, что то же, несчастные мечтатели» [8, 116, 53 об.] — точка зрения далеко не официальная.

На деятельность Сулоцкого как историка, особенно на публикацию им статей на темы гражданской истории, церковное начальство не всегда смотрело благосклонно; при архиепископе Варлааме он переносил по этому поводу нарицания и неприятности, и поэтому ряд работ Сулоцкий опубликовал анонимно или под псевдонимами «Александр Цветков» и «Филарет Петухов» [93, 10, 224 и 229]. Больших усилий стоило Александру Ивановичу, по его собственным словам, преодоление многообразных цензурных трудностей. Преодолеть удалось лишь некоторые из цензурных рогаток благодаря тому, что сослуживцем Сулоцкого еще по Тобольской семинарии был Канустин, ставший позднее секретарем Московского цензурного комитета [93, 10, 226]. Сам Сулоцкий охотно помогал местной молодежи в попытках краеведческих или историко-филологических изысканий и литературных опытах*.

15 февраля 1850 г. Сулоцкий писал М. А. Фонвизину о том, что удалось добиться через доктора Троицкого разрешения передавать Дурову и Достоевскому духовные книги и журналы. В первой партии литературы такого рода, которую Сулоцкий отправил заключенным, были исалтырь на русском языке, журнал «Христианское чтение» за 1828 и 1847 годы [9, 67, 4, 1].

Журналы были подобраны по усмотрению Александра Ивановича. Совершенно очевидно, что и в своей личной библиотеке, и в библиотеке кадетского корпуса или крепостного собора** законоучитель мог бы найти более свежие номера такого издания. Обращение к томам 1828 г. не случайно. Об этом свидетельствует и замечание самого Сулоцкого в том же письме. Перечисляя книги, он по поводу журнала 1828 г. написал: «...где статьи о последних днях земной жизни Спасителя». Судя по характеру замечания, речь идет о сочинении, известном Фонвизину. Возможно, работа эта упоминалась и обсуждалась в свое время в их кружке в Тобольске; по видимому, она привлекла внимание и была выделена из

* Один из его питомцев писал об этом: «...это был человек в высшей степени скромный, деликатный, благожелательный, сочувствующий и помогавший всякому доброму начинанию, особенно в области научных исследований и литературных занятий» [93, 11, 222].

** В описи библиотеки омского Воскресенского собора есть «Христианское чтение» за разные годы [16, 38, 141].

числа статей этого издания. С. Н. Знаменский получал от Фонвизинных номера «Христианского чтения» в Ялуторовск; пересылал и какие-то номера Сулоцкому. Чтение и пересылка этого журнала несколько раз упоминаются в его переписке.

Обратившись к самому журналу, видим, что речь идет об одном большом сочинении (свыше 430 стр.), разделенном по главам на несколько кусков за счет вкрапления других разделов издания [94]. Итак, через три недели после заключения в Омском остроге Федор Михайлович имел в своем распоряжении не только Евангелие, переданное в Тобольске декабристами, но и ряд статей, трактующих евангельские сюжеты, в том числе большое русское сочинение о Христе. Правда, эти книги были доступны, возможно, лишь в госпитале, поскольку в письме речь идет о хлопотах Троицкого. В этом смысле и следует, по-видимому, понимать позднейшее замечание Достоевского о том, что Евангелие он знал хорошо, так как в течение долгого времени имел его в качестве единственной книги. Вероятно, бывали значительные периоды в омском житье, когда писатель у себя в остроге читал только Евангелие. Но длительное пребывание в госпитале (о чем мы знаем из многих источников) давало ему возможность обстоятельно познакомиться с литературой, переданной Сулоцким.

Этот факт приобретает значение не только в свете мировоззрения Достоевского, но и в связи с местом образа Христа в его творчестве*. Сложный комплекс религиозно-философских и художественно-творческих воззрений писателя, связанных с Христом, развивался в течение всей его сознательной жизни. Занимал ли период каторги существенное место в решении этого круга проблем? Утвердительный ответ на этот вопрос имеет прочное основание в знаменитом письме Достоевского к Фонвизинной, написанном сразу же после выхода из Омского острога — в 20-х числах февраля 1854 г. Не случайно вся огромная литература о Достоевском в части, касающейся его религиозно-нравственных и философских взглядов, постоянно обращается к этому письму. А. С. Долинин полагал, что «символ веры», выраженный в письме 1854 г., был весь-

* Сводку наблюдений советского литературоведения по этому вопросу см. в комментарии к «Идиоту» в последнем издании [14, 9, 394—400].

ма характерен для идеологии Достоевского [1, 1, 513]. Позднейшие исследования подтверждали связь идей письма к Фонвизинной с трактовкой этих вопросов в последующем творчестве писателя [95]. Следовательно, Достоевский к 1854 г. уже сформировал в значительной мере свои убеждения в этой области.

Среди источников, сыгравших роль в создании образа князя Мышкина (который как тип идеально прекрасного человека в черновых материалах к роману поставлен достаточно определенно самим Достоевским в связи с Христом), исследователями выделена «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана. Д. Л. Соркина даже полагает, что «Достоевский использовал при создании образа своего положительного героя» эту книгу «в значительно большей степени, чем Евангелие» [96, 145]. Более объективно эта мысль выражена Н. И. Соломиной в комментарии к академическому изданию, где сказано, что «обдумывая образ „Князя Христа“, Достоевский исходил не только из Евангелия; он учитывал сочувственно или полемически многочисленные позднейшие трактовки этого образа в литературе и искусстве, а также в современной ему философско-исторической науке. В частности (...) известную роль при создании образа Мышкина сыграли размышления Достоевского над „Жизнью Иисуса“ (1863) французского писателя, философа и историка Э. Ренана (1823—1892), имя которого Достоевский трижды упоминает в подготовительных материалах к роману» [14, 9, 396]. Автор комментария справедливо отмечает, что «при некоторых совпадениях с Ренаном столь же очевидны (и в окончательной редакции, и в черновых записях к ней) принципиальные расхождения писателя с автором «Жизни Иисуса». Миропонимание Мышкина в основе своей «антиренановское» ([14, 9, 398; подробнее по этой проблеме см. [97]). Мнение Достоевского о Ренане выражено очень определенно в «Дневнике писателя» за 1873 г.: „*Vie de Jésus*“ — книга „полная безверия“; но Ренан признал, „что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем“ [14, 21, 11].

Признавая, что Достоевский учитывал поздние трактовки образа Христа, исследователи не обращались еще к современной писателю русской литературе по этому вопросу. Мы уже привели прямое свидетельство передачи Достоевскому «Последних дней земной жизни господина нашего

Иисуса Христа». Это обширное сочинение не было простой популяризацией евангельских текстов. Автор (имя его в журнале не указано) привлек широкий круг литературы, затрагивавшей в той или иной степени трактуемые им вопросы. Греческие, латинские, немецкие, французские сочинения использовались им в подлинниках. В подстрочнике «Последних дней» находим справочные книги новейших, относительно выхода этого сочинения, западноевропейских изданий (вплоть до 1825—1826 гг.).

Общий дух «Последних дней» несомненно более соответствует концепции Достоевского, чем книга Ренана. «Последние дни» оказали определенное влияние на формирование миропонимания писателя в 1850—1853 гг. Несмотря на все атрибуты богословской учености, сочинение это написано достаточно эмоционально, многие евангельские сцены переданы со строгой выразительностью. В частности, специальная глава посвящена воскресению Лазаря — сюжету, который, как известно, очень занимал Достоевского. Именно его он избрал для ключевой сцены «Преступления и наказания» — разговора Раскольникова с Соней о вере, после которого состоялось его признание в убийстве. Должно совершиться нравственное воскресение Раскольникова, подобное воскресению Лазаря из мертвых. Тот же смысл этой темы обращен и к Соне: «Я сама была Лазарь умерший, и Христос воскресил меня» [14, 7, 192]. Тема воскресения Лазаря многократно упоминается в подготовительных заметках к «Преступлению и наказанию». Эпизод о воскресении Лазаря описан лишь в четвертом Евангелии, от Иоанна; в трех других его нет. Как уже отмечалось в литературоведении, Достоевский обычно предпочитал текст от Иоанна другим [14, 7, 192]. Этим источником пользуется преимущественно и автор «Последних дней».

Специальная глава посвящена в «Последних днях» шествию на Голгофу — теме, тоже близкой Достоевскому и преломленной в его творчестве как путь к нравственному воскресению. «Соня идет за ним на Голгофу в 40 шагах» — так определил писатель в предварительных набросках путь Сони за Раскольниковым, идущим покаяться в убийстве. (Заметим попутно, что Соня следует за ним, прячась, подобно Марии Магдалине и другим женщинам, сопровождавшим крестное шествие и приблизившимся, как подчеркивает автор «Последних дней», только во время затмения.)

В подготовительных материалах к «Идиоту» есть разговор о казни на кресте. В комментарии отмечено, что «в изложении эпизода смерти Христа Достоевский (следуя Ренану) отступает от Евангелия, где слова «ужасный крик» отсутствуют. Однако последний возглас Иисуса он приводит не по Луке и Иоанну, как Ренан, а по Марку и Матфею: «Элой! Элой!..» [14, 9, 184 и 398].

В «Последних днях», в отличие от Ренана, смерть Христа описывается именно по Марку. При этом автор, пользуясь древними оригиналами, различает написание восклицания у Марка и Матфея, обосновывая лингвистическим анализом свое предпочтение первому, как более близкому к галилейскому наречию [94, 30, 248]. Полагаем, что Достоевский использует вариант от Марка под влиянием известного ему текста «Последних дней» [98, 128].

Но сходство не только в этом. Автор «Последних дней» ставит проблему, которая стоит для Достоевского за приведенным разговором, — побеждена ли была медицинская неизбежность потери рассудка во время казни на кресте. Для Достоевского она стоит как проблема, возникающая в сомнениях между верой и неверием, в поисках доказательств человеческой или божественной сущности Христа. В «Последних днях» по поводу возврата Христом чаши с питьем сказано: «Чаша холодной воды, может быть, была бы Им выпита: ибо продолжительное изнеможение сил, в коем Он находился, рождало жажду; но питье, омрачающее чувства, было для Него противно. Несмотря на жестокость мучений, ожидавших Его на кресте, Он хотел претерпеть их с полным сознанием» [94, 30, 210].

Как видим, задолго до создания книги Ренана, еще в Сибири, в распоряжении Достоевского было сочинение, трактовавшее евангельский сюжет. Описание «Последних дней» включало и реалистические детали слабостей человеческого тела, которые позднее привлекли внимание Достоевского на известной картине Гольбейна Младшего «Мертвый Христос» («от такой картины вера может пропасть» — восприятие самого писателя, по свидетельству А. Г. Достоевской, и его героя — князя Мышкина).

Для характеристики «Последних дней» заметим, что автору их не чужд обличительный пафос в адрес нравственной глухоты и социальной косности, звучание которого явно выходит за пределы исторического фона описы-

ваемых им событий. Так, после темы Лазаря он восклицает: «Величайшее из чудес (<...> для сих людей с сожженной совестью послужило случаем, может быть, выказать низкую приверженность свою к какому-либо временщику — фарисею!» [94, 29, 187; 98, 129].

Некоторые акценты в изложении евангельских эпизодов в «Последних днях» перекликаются с подходом Достоевского к изображению князя Мышкина и Алеши Карамазова, в образах которых воплощалось для него идеально прекрасное поведение человека в повседневной жизни, приближающееся к идеалу Христа.

О внимательном отношении Достоевского к этому сочинению косвенно свидетельствует, на наш взгляд, просьба достать для него «Историю» и «Древности иудейские» Иосифа Флавия, адресованная к Дмитрию Семеновичу Пономареву, чуть ли не при первой же беседе с ним. В Омске Флавия не оказалось, и Сулоцкий переадресовал просьбу декабристам. Письмо Сулоцкого датировано 18 августа 1850 г. — со времени передачи «Христианских чтений» прошло семь месяцев острожной жизни писателя [9, 67, 7, 1 об.]. Дело в том, что автор «Последних дней» ссылается в ряде мест на Флавия по сюжетам, которые могли заинтересовать Достоевского [94, 29, 381; 94, 30, 179 и 353].

Думается, что сочинение о последних днях Христа произвело на Достоевского впечатление уже тем, что в нем сведена огромная литература по волновавшей его теме. Определяя место этого источника в творчестве Достоевского, следует учесть, что писатель позднее в своей концепции выделял образ Христа в православии (не в христианстве вообще) *. Такой взгляд не мог сложиться без знания русских авторов.

Как истинный сын русской национальной культуры, глубоко чувствующий ее народные основы, Достоевский впитал своим творчеством и духовную традицию, идущую вне церкви: обращался к апокрифической литературе и народным легендам, сочетающим дохристианские и христианские мотивы. В изучении этих источников, как и древнерусской литературной традиции, уже сделано немало (см. работы Д. С. Лихачева, В. Е. Ветловской,

* В записной тетради 1876—77 годов: «Изучите православие, это не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, вполне вот те живые силы, без которых нельзя жить народам. В нем даже мистицизма нет, — в нем одно человеколюбие, один Христов образ» [50, 570].

Л. М. Лотман [99, 347—363; 100, 325—354; 101, 285—315]. Но мы еще мало знаем о видении писателем русских духовных сочинений своих современников. Самый поздний из авторов таких сочинений, учитываемый в плане влияния на Достоевского,— Тихон Задонский, на которого Достоевский сам указывал [85, 361—365].

Автора «Последних дней», опубликованных в «Христианском чтении» 1828 г., нам удалось установить по более позднему изданию этого сочинения, вышедшего отдельной книгой. Это — Иннокентий (И. А. Борисов) [102].

Знакомство с «Последними днями» не прошло бесследно для Достоевского. Но каноническая уверенность автора из «Христианских чтений» достаточно далека от того трагического горения между верой и неверием, в котором признался великий писатель Н. Д. Фонвизиной в первые дни после выхода из Омского острога: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [1, 1, 142].

Примечательно, что это видение Христа, сложившееся за время каторги, устойчиво сохраняется у Достоевского. И в начале 70-х годов в окончательном, устоявшемся тексте «Бесов» он, как мы уже отмечали, дословно повторит фразу из своего письма Фонвизиной, вложив ее в уста Шатову, устроившему Ставрогину допрос о его вере [14, 10, 198].

Но дословно повторенная фраза, разумеется, далеко не исчерпывает комплекса идей, связанных с образом Христа, сложившимся у Достоевского к 70-м годам [50, 173—174; 14, 11, 186 и др.]. Среди этих идей — четко выраженное отрицание трактовки Э. Ренана: «Они все на Христа (Ренап, Ге), считают его за обыкновенного человека и критикуют его учение, как несостоятельное для

нашего времени. А там и учения-то нет, там только случайные слова, а главное, образ Христа, из которого исходит всякое учение. С другой стороны, посмотрите тщеславие и нравственное состояние этих критиков. Ну, могут ли они критиковать Христа? Из Христа выходит та мысль, что главное приобретение и цель человечества есть результат добытой нравственности» [14, 11, 192]. Из заметки Достоевского в записной тетради (24 декабря 1877 г.) нам известно, что в основные замыслы писателя последних лет его жизни входило написать свою «книгу о Иисусе Христе» [14, 15, 409].

По-видимому, в прямой связи с этими замыслами стоит то обстоятельство, что в списке личной библиотеки Федора Михайловича значатся три издания «Последних дней» Иннокентия (И. А. Борисова) — 1857, 1860 и 1872 гг. [23, 260]. Таково было продолжение скромного события — передачи книг, имевшего место в самом начале омского заточения Достоевского и являвшегося, в свою очередь, отголоском влияния тобольско-ялуторовского кружка Фонвизиной.

Глава седьмая

ЕВГЕНИЙ ЯКУШКИН

Среди встреч, порадовавших Достоевского в его мрачный омский период, к числу самых ярких следует отнести свидание с Евгением Ивановичем Якушкиным. «Я неожиданно, к моему счастью, нашел в вас как будто родного» (Достоевский — Е. И. Якушкину 15 апреля 1855 г.). Это открытие друг друга было, действительно, неожиданным во всех отношениях.

Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин уговорил свою жену не ехать за ним в Сибирь — не оставлять сыновей. «Что нам вместе, жене моей и мне, всегда было бы прекрасно, я в этом не мог сомневаться; я также понимал, что она, оставшись без меня, даже посреди своих родных, много ее любящих, становится в положение для нее неловкое и весьма затруднительное; но, с другой стороны, для малолетних наших детей, попечение матери было необходимо. К тому же я был убежден, что, несмет-

ря на молодость жены моей, только она одна могла дать истинное направление воспитанию наших сыновей, как я понимал его, и я решился просить ее ни в коем случае не разлучаться с ними; она долго сопротивлялась моей просьбе, но, наконец, дала мне слово исполнить мое желание. Мне стало легче» [5, 95—96].

Воспет подвиг жен, поехавших в Сибирь за мужьями. Но еще не оценена судьба тех, кто остался ради детей: в вечной разлуке, ни жена — ни вдова. Анастасия Васильевна Якушкина, урожденная Шереметева, вышла замуж пятнадцати лет. В 1827 г., во время последнего свидания с мужем в Ярославле, ей было 20 лет. Последующие восемнадцать лет (до смерти в 1846 г.) она посвятила воспитанию двух детей. Когда взрослые сыновья смогли встретиться с отцом, они стали его друзьями, они оказались близкими ему людьми.

«Она мне всегда казалась совершенством, — писал Евгений Якушкин о матери, — и я без глубокого умиления и горячей любви не могу и теперь вспомнить о ней. Может быть, моя любовь, мое благоговение перед ней преувеличивают ее достоинства, но я не встречал женщины лучше ее. Она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образована. Ее разговор просто блистал, несмотря на чрезвычайную простоту ее речи. Но все это было ничего в сравнении с ее душевною красотой. Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее. Она готова была отдать все, что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся, нередко просиживала ночи у больных, иногда почти ей неизвестных <...> Она была религиозна, но без всякого ханжества, без особого уважения к обрядам, выше которых она ставила истинное христианское чувство, чувство любви к ближнему <...> С независимым характером, какие встречаются редко, она при всей своей снисходительности и мягкости никому не позволяла наступать себе на ногу, да редко кто на это и отваживался, потому что ее тонкая, но острая насмешка сейчас же заставляла человека отступить в должные границы.

В то время произвола ее глубоко возмущало всякое насилие, она высказывалась горячо и прямо, с кем бы ей ни приходилось говорить. Очень веселого характера, она любила удовольствия и общество и оживляла самых скучных людей своей веселостью. Прислуга и простой народ любил ее чуть не до обожания» [103, 480—481].

Евгений, второй сын, родился 22 января 1826 г., когда отец был в Алексеевском рavelине. «В первых числах февраля Трусов (офицер ravelина.— М. Г.) принес мне письмо от жены, в котором она извещала, что она благополучно родила сына и что она и дети здоровы. Прочтя это письмо, я чуть не сошел с ума; я так был счастлив, что бросился к двери, стучал кулаком и требовал к себе офицера» [5, 71].

Евгений Иванович получил отличное образование: сначала — домашнее, затем — в частном пансионе; закончил Московский университет; слушал лекции в Берлинском университете. Ко времени своей первой поездки в Сибирь в 1853 г. он уже прошел изрядный путь в занятиях правом. Переписка его с отцом в эти годы обнаруживает широкий круг чтения и многообразные общественные интересы [5, 301—370].

В Сибирь младший Якушкин был командирован по делам Межевого корпуса. Перед отъездом он получил подробную устную информацию о делах ялуторовско-тобольской колонии декабристов от Фонвизиных, незадолго до этого возвратившихся в европейскую часть страны. О большом желании М. А. Фонвизина познакомиться с Евгением писал сыну Иван Дмитриевич в мае 1853 г. [5, 370]. Сохранилось свидетельство посещения Е. И. Якушкиным Фонвизиных в их имении Марьино перед самым выездом Евгения в Сибирь. В неопубликованной части воспоминаний М. С. Знаменского (рукопись хранится в ЦГАЛИ, в фонде Знаменского), относящейся к 1853 г., приводится письмо Михаила Александровича к С. Я. Знаменскому с рассказом о приезде в Марьино в сентябре сына Степана Яковлевича — Михаила. «С Мишей съехались у нас сыновья друга нашего Ивана Дмитриевича, и для меня была большая радость любоваться этими тремя молодцами и беседовать с ними. В Мише, как и в нашем Ник[олае], не осталось ничего бурсацкого. Он едет с товарищем своим Бис[еровым]. Вслед за ним отправляется в Ялуторовск и Евгений Якушкин — он получил уже отправление и хотел выехать из Москвы 30 сентября <...> Миша и Евгений будут живыми грамотами, от них узнаете все подробности о нашем житье-бытье» [8, 14, 7 об.]

Евгений Иванович несомненно и до этого знал о заключении Достоевского в Омском остроге, но в Марьино мог услышать дополнительные подробности. «В то время,

когда Достоевский был в крепостных арестантских ротах в Омске, я на короткое время попал в этот город. Достоевского я никогда до этого времени не видел. Зная, что жизнь Достоевскому в арестантских ротах очень тяжела (по общему отзыву там было хуже, чем в каторжной работе) и что сношения со знакомыми и родственниками крайне затруднены, я просил знакомого моего, у которого я остановился, устроить мне свидание с Достоевским». Все это младший Якушкин рассказал много позднее, в письме к своему сыну — В. Е. Якушкину (внуку декабриста) от 14 декабря 1887 г. [82, 27]. Нетрудно догадаться, у кого остановился Евгений в Омске: в доме Константина Ивановича и Ольги Анненковой.

Впрочем, в предположениях здесь нет надобности, так как мы обнаружили письмо Якушкина-внука к М. И. Семевскому от 12 сентября 1883 г., где прямо говорится об этом: «Милостивый Государь Михаил Иванович! Вчера я прочел сентябрьскую книжку «Русской Старины». Я уже писал Вам, что место ссылки Достоевского обозначено мною неверно, что отец мой виделся с ним в Омске. Отец останавливался там у К. И. Иванова, от которого можно узнать подробности. Во всяком случае в Октябрьской книжке надо поправить название города» [51, 941, 3].

Речь шла об ошибке, которую допустил Вячеслав Евгеньевич при подготовке публикации в «Русской старине» двух писем Достоевского к Е. И. Якушкину. Это были письма семипалатинского периода, но во вводной статье говорилось о начале знакомства; при этом местом встречи был назван Красноярск [104, 645]. Публикацию готовили без Евгения Ивановича — он жил в Ярославле. Побывав затем у отца, Вячеслав пытался исправить ошибку письмом к Семевскому, но опоздал — номер уже вышел.

«Пишу Вам из Ярославля, куда приехал повидаться с отцом. Я спросил отца и спешу сообщить Вам, что он виделся с Достоевским в 1853-м году в Омске. Впрочем я думаю, что Вы и без меня уже поправили ошибочное указание города» [51, 941, 1]. Эта ошибка была возможна потому, что Евгений Иванович в своей поездке 1853—1854 гг. побывал в нескольких городах Сибири. Допущенная Вячеславом небрежность вызвала раздраженное отношение к публикации лиц осведомленных, поставивших из-за ошибки под сомнение реальность само-

го факта встречи. Тем более, что Якушкин в «Русской старине» не был назван, а обозначался как «г-н Е-ъ». А. Е. Врангель с возмущением заметил в своих воспоминаниях: «В „Русской Старине“ 1883 года (стр. 156) прочел я, между прочим, за подписью некоего Г. Е-ъ, рассказ, как он сам видел Ф. М. стрелавшим с другими арестантами снег на улицах Красноярска, но Достоевский и в Красноярске-то не был, а жил только в Омске и Семипалатинске» [29, 14—15].

Но вернемся к рассказу Е. И. Якушкина о встрече. «Его (Достоевского.— М. Г.) на другой же день привел конвойный очистить снег на дворе казенного дома, в котором я жил. Снега, конечно, он не чистил, а все утро провел со мной. Помню, что на меня страшно грустное впечатление произвел вид вошедшего в комнату Достоевского в арестантском платье, в оковах, с исхудалым лицом, носившим следы сильной болезни. Есть известные положения, в которых люди сходятся тотчас же. Через несколько минут мы говорили, как старые знакомые. Говорили о том, что делается в России, о текущей русской литературе. Он спрашивал о некоторых вновь появившихся писателях, говорил о своем тяжелом положении в арестантских ротах. Тут же написал он письмо к брату, которое я и доставил по возвращении моем в Петербург» [82, 28].

Впечатления Евгения Ивановича не дают и намека на угрюмость или необщительность Достоевского, о которой писал со слов гардемарина Мартьянов и польский ссыльный Ш. Токаржевский. Здесь было полное доверие и тотчас же найденный общий язык.

Основой для близости интересов служило, по-видимому, отношение к русскому народу, к крестьянству. Молодого Якушкина крестьянский вопрос глубоко занимал уже в это время. Будущий автор пятитомного издания библиографии «Обычное право» внимательно присматривался к крестьянской жизни и в своем имени Жуково, где основал училище для крестьянских мальчиков, и по линии служебных обязанностей (вопросы межевания земель государственных крестьян). Кроме того, именно в этой сибирской поездке Евгений Иванович познакомился обстоятельно со взглядами отца по крестьянскому вопросу. Иван Дмитриевич уже писал в это время свои «Записки», часть которых была продиктована сыновьям — Вячеславу и Евгению [5, 525 и 568]. Но и не-

зависимо от «Записок», отец и сын, несомненно, вели разговоры о необходимости наделения крестьян землей. Вскоре после поездки в Сибирь Евгений Иванович отпустил своих крестьян на волю «и отдал им всю землю вместе с помещичьей усадьбой» [5, 511].

Из «Записок» декабриста мы знаем, что он уже в 1820 г. был намерен освободить своих крестьян. «Я предоставлял в совершенное и полное владение моим крестьянам их дома, скот, лошадей и все имущество. Усадьбы и выгоны в том самом виде, как они находились тогда, оставались принадлежностью тех же деревень. За все за это я не требовал от крестьян моих никакого возмездия. Остальную же всю землю я оставлял за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам».

Когда Иван Дмитриевич стал обсуждать предлагаемые условия с самими крестьянами, реакция их оказалась для него неожиданной. «„Земля, которую мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?“ Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны ее занимать у меня. „Ну так, батюшка, оставайся, все по-старому: мы ваши, а земля наша“. Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клочка земли, которую он пахал бы для себя собственно» [5, 27 и 29].

И далее: «Впрочем, вскоре потом я убедился, что освобождать крестьян, не предоставив в их владение достаточного количества земли, было бы только вполуполу обеспечить их независимость. Распределение поземельной собственности между крестьянами и общинное владение ею составляют у нас основные начала, из которых со временем должно развиться все гражданское устройство нашего государства. Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы, того времени более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своем воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности» [5, 32].

Именно эту позицию Ивана Дмитриевича имел в виду Достоевский, когда заметил в своей записной тетради 1872—1875 гг.: «Но это только доказывает, что все должны иметь право на землю и что чуть лишь это пра-

во нарушено, является сотрясение и распадение общества. У нас русских понял декабрист Якушкин — искреннейший человек» [50, 314].

Мысль о народных представлениях о необходимости владения землею у Достоевского настолько прочно ассоциировалась с И. Д. Якушкиным, что он дважды сделал аналогичные пометки и в записной тетради 1876—1877 гг. «Всякий должен иметь право на землю. У нас это народное начало. Декабрист Якушкин. Мы ваши, а земля наша» [50, 553]. И еще: «Изучение народа было искреннее и добросовестное. Об русском народе спорили (Белинский и славянофилы), решали дело, как быть и на каких основаниях соединиться с ним. Декабрист Якушкин искренно удивлялся, что не мог потрафить ему» [50, 556—557].

Считается, что источником сведений Федора Михайловича о взглядах И. Д. Якушкина была публикация Герценом «Записок» декабриста в Лондоне в 1862 г. [50, 643; 105, 233]. К этому можно добавить, что в 1865 г. было опубликовано сочинение И. Д. Якушкина «Мнение смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости», в котором он излагал первоначальный проект освобождения своих крестьян (с дворами, усадьбами и общим выгоном при сохранении остальной земли за помещиком), но с более обстоятельными, чем в «Записках», рекомендациями в пользу крестьянских общин.

Но только ли на основании публикаций сложилось представление Достоевского о декабристе Якушкине как о человеке, который первым в России понял значение наделения землею как народного начала? Сроки появления заметок в записных тетрадях не связаны с выходом из печати «Записок» и «Мнения» Якушкина: они отстоят от них на много лет и связаны с планами собственных статей Федора Михайловича (в частности, статья «Земля и дети» в июльско-августовском «Дневнике» 1876 г.). Решая этот вопрос, следует помнить, что Достоевский в Сибири неоднократно встречался с людьми, испытывавшими влияние ялutorовско-тобольской колонии декабристов, хорошо знакомых с идеями, имевшими там хождение в первой половине 50-х годов. Речь может идти о взглядах не только И. Д. Якушкина, но и М. А. Фонвизина, активно работавшего в начале 50-х годов над выработкой концепции по ряду вопросов со-

циального развития (на этом мы останавливались выше).

У нас нет прямых свидетельств знакомства Достоевского в Сибири с рукописью «Записок» И. Д. Якушкина. Хотя сроки их написания, наличие связей и нескольких списков — все это делает такое предположение вполне реальным. Но еще более вероятно, что тобольские и ялуторовские идеи доходили до писателя в устном изложении. Встреча с Евгением Якушкиным была первым из наиболее насыщенных в этом отношении контактов.

Федор Михайлович вел многочасовую беседу с младшим Якушкиным в конце омской каторги. Вскоре после этого он написал, подводя итог тюремным впечатлениям: «Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, то народ русский хорошо, и так хорошо, как может быть не многие знают его» [1, 1, 139]. Острое ощущение задачи узнать народ, выстраданное представление о чуждости дворян народу (так выразительно показанной писателем в «Записках из Мертвого дома») сложились у Достоевского в период каторги. В связи с этими взглядами ему должен был особенно импонировать Евгений Иванович — человек, который сводку информации о народных обычаях считал достойным делом многих лет своей жизни.

Но главным в этой встрече было, пожалуй, то, что Евгений Якушкин, при всем свойственном ему смолоду рационализме ученого, обладал неисчерпаемым запасом душевного тепла. «В письмах своих Достоевский говорит о какой-то услуге. Что я предлагал ему денег, я помню, но у меня их было так мало у самого, что я мог предложить самую пустую сумму, да я и не помню, взял ли он у меня денег или нет. Во всяком случае считать это услугой невозможно. Доставка письма брату — было тоже не бог знает, какая услуга. При прощании со мной он говорил, что он ожил. Может быть это и была главная моя услуга. Мое сердечное, теплое к нему участие, чувство уважения к нему, которое высказывалось в моих словах, мои молодые надежды на лучшее будущее, вероятно, его успокоили на время и оказали, может быть, действительно услугу. Мы расстались более чем знакомыми, почти друзьями» [82, 27—28].

В цитируемом письме к сыну, спустя 34 года после самого события, Евгений Иванович написал, что встреча с Достоевским была единственной. Это же утверждал с его слов и Вячеслав в предисловии к первой публикации

писем Достоевского к Е. И. Якушкину в 1883 г. Но сохранилось и противоположное утверждение Евгения Ивановича в письме к жене, написанном всего лишь через два года после омской встречи с Федором Михайловичем, в 1855 г. Рассказывая о неприятном впечатлении от того, что в саду знакомого, которого он посетил на Волге, работал арестант, Евгений замечает: «Я очень хорошо знаю, что арестанты ходят в цепях, что их употребляют в работы, видел даже не раз Достоевского с лопатой или метлой в руках, с ножными железами, с головой вполувину обритой, с конвойным, опустившим на землю ружье и равнодушно смотрящим по сторонам; кажется, не все ли равно, работает ли арестант на большой дороге или в саду, в котором я сижу и пью чай, однако ж — не все равно» [106, 18].

Что означает это «не раз» — описка? Или же в это время, по свежим следам, Евгений Иванович еще помнил, что в Омске удалось повидаться с Достоевским в несколько приемов, а много лет спустя воспоминание сохранило впечатление от одной встречи? Пожалуй, это не существенно. В любом случае это было благоприятное начало отношений, получивших затем развитие в переписке. Начало, принесшее удовлетворение обеим сторонам.

«Благодарю Вас, многоуважаемый Евгений Иванович, за вашу память обо мне и за ваше ко мне внимание <...> Пушкина я получил. Очень благодарю вас за него» (Достоевский — Е. И. Якушкину 15 апреля 1855 г.).

Но с исполнением книжных просьб далеко не все шло гладко. В этом же письме Федор Михайлович выяснял: «Брат мой писал мне, что он еще весною прошлого года послал мне через вас некоторые книги, как например, Святых отцов, древних историков, и из вещей — ящик сигар. Но я ничего не получил от вас. Теперь уведоьте, пожалуйста: посылали ли вы ко мне? Если посылали, то пропало в дороге. Если не посылали, то, конечно, сами не получали. Сделайте одолжение уведоьте об этом брата» [1, 1, 149—150].

Разъяснение к этому случаю дал В. Е. Якушкин в 1883 г.: «Посылка Достоевскому от его брата Михаила, о которой говорится в первом письме, была действительно получена г-м Е-ь: он послал ее по почте на имя одного знакомого чиновника, но тот, извещенный, что эту посылку он должен передать Достоевскому, убоаясь сно-

шений с политическим преступником и, чтобы совершенно избежать каких-нибудь неприятностей, вовсе отказался от получения посылки, которая так неизвестно где и пропала. Таким образом Ф. М. Достоевский не получил ни посылки брата, ни книг, отправленных с нею вместе г-м Е-ь» [104, 645].

Услуги, которые охотно оказывали Федору Михайловичу люди из окружения декабристов, действительно, были сопряжены с определенным риском и далеко не для всех казались естественными*.

Евгений Иванович испробовал, как видно, разные каналы связи с Семипалатинском. «Только что получил посылку из Москвы с книгами,— писал А. Е. Врангель Пущину 1 января 1855 г.,— хотя письма нет, но догадываюсь, что это от Евгения Якушкина, и пишу ему по этой же почте» [36, 34, 2]. А в октябре этого же года Врангель снова извещал Пущину о контактах с Евгением: «Нашел здесь (по возвращении из Барнаула в Семипалатинск.— М. Г.) письмо Е. Якушкина, хотелось бы очень его увидеть, да, кажется, надежды мало; когда он будет у Вас?» [36, 34, 10 об.].

Для Евгения Якушкина участие во всех видах помощи, принятых в сибирской «артели» политических ссыльных, стало одной из существенных задач его многообразной деятельности. Уже во время первой поездки в Сибирь он близко сошелся со многими декабристами. 14 января 1854 г. И. И. Пуцин писал из Ялуторовска в Томск Г. С. Батенькову: «Скоро опять к вам будет другой малолетний (перед этим речь шла о Сергее Колошине.— М. Г.), Евгений Якушкин,— он тоже привезет грамотку, которую на днях пошлю ему в Тобольск, где он теперь ревизирует межевую часть» [44, 267]. И 26 марта того же года Ф. Ф. Матюшкину: «Собирается наша артель — от меня поедет Евгений Якушкин. Будем в последний раз с ним вечеровать» [44, 269].

Беседы с Евгением Ивановичем в Ялуторовске Пуцин вспомнил в начале своих записок о Пушкине, написанных по настоянию младшего Якушкина. «Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг,

* М. А. Фонвизин рассказывал в письме к жене подобный случай этих же лет, когда человек, выказывавший доброжелательность к нему и другим декабристам, испуганно отказался написать адрес и запечатать своею печаткою письмо Фонвизина [6, 56, 7].

молчком не отдалаешься — и то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ» [44, 41].

Для И. И. Пущина и Г. С. Батенькова Евгений стал так близок, что даже Ивана Дмитриевича они воспринимают прежде всего в связи с Евгением: «Вот вам, добрый друг Гаврило Степанович, и наш Ланкастер, отец Евгения! Не знаю, скоро ли он довезет вам мою грамотку, но все-таки ему вручаю ее. Вы увидите и Вячеслава, брата Евгения. Получите отца и сына. Они, вероятно, отдохнут у вас в Томске» [44, 271]. (Речь идет о поездке И. Д. Якушкина в Восточную Сибирь в сопровождении сына, направлявшегося туда на службу, письмо от 8 июня 1854 г.) Батеньков, как и Пущин, в последующие годы переписывался с Евгением.

Очень скоро младший Якушкин вошел в материальные нужды ссыльных. В 1855 г., из второй поездки в Сибирь, он писал жене о бедности петрашевца Ф. Г. Толля. «Впрочем, не он один находится в таком положении, многие из сосланных только что не умирают с голоду. Ты знаешь, в каком положении Достоевский, а таких, не получающих ничего из России, много» [106, 50].

«Александр Павлович* прислал мне от Вашего имени 100 руб. сереб. Добрейший Евгений Иванович, скажите мне, как возможно Вам скорее, какие это деньги, откуда и чьи? Вероятно, Ваши, т. е. Вы, движимый братским участием, присылаете их мне в надежде подстрекнуть меня на литературную деятельность и тем желаете помочь мне вдвойне» (Достоевский — Е. И. Якушкину 1 июня 1857 г. [1, 1, 221]).

Литературные дела Достоевского стали основной темой их семипалатинской переписки. Сначала — в самой общей форме. «Хотелось бы делать систематически. Но я читаю и пописываю какими-то порывами и урывками». И здесь же знаменитый вопрос, обнаруживающий первое знакомство Федора Михайловича с Львом Толстым: «Уведомьте, ради Бога, кто такая Ольга Н. и Л. Т. (напечатавший «Отрочество» в Современнике)?» [1, 1, 150].

* По-видимому, это А. П. Иванов — муж сестры Достоевского Веры.

Летом 1857 г. разговор становится конкретным, появляется надежда, что Якушкин поможет напечататься. «Конечно, я не останусь глух на призыв Ваш, только уж и не знаю как благодарить Вас за Ваше внимание ко мне.— До сих пор я хотя и желал, но удерживался от печатанья. Мне все казалось, что я не имею права. Но кажется мои опасения были пустые. Меня уже многие торопили печатать. Я давно уже решился печатать, но не знал, как обделать дело. Во 1-х, не знал куда послать. Редакции журналов для меня теперь большею частию не знакомы. Мне же непременно хотелось (и так я желаю и теперь) — печатать не под своим именем. В последнее время я думал о Русском Вестнике. Приятель мой Плещеев (теперь в Оренбурге) уведомил меня, что писал обо мне Каткову. Итак я желал бы начать с Русского Вестника. Но вот в чем затруднение: что предложить в Вестник? Скажу Вам без обиняков, что у меня давно уже определено с чего начинать, и с другого я не начну. Хотя и есть кое-что другое, но кроме романа и повести я ни с чего другого не начну» [1, 1, 221].

«Он в одном из своих писем просил меня,— рассказывал Евгений Иванович сыну много лет спустя,— переговорить с Катковым о напечатании его романа в «Русском вестнике». Катков, конечно, согласился, он сделал еще более: узнавши от меня о затруднительном денежном положении Достоевского и что ему необходимы деньги теперь же,— он сказал, что вышлет деньги вперед» [82, 28].

У Е. И. Якушкина были свои отношения с М. Н. Катковым. Любопытно, что в период переговоров Евгения об издании Достоевского они с Катковым вместе числились в III отделении в «Списке подозрительных лиц в Москве», который в секретных бумагах графа Закревского сохранялся вместе с «Запиской о разных неблагонамеренных толках...», посвященной славянофильству. 26 августа 1858 г. эти бумаги были переданы новому шефу жандармов кн. Долгорукову [107, 9, 1—5]. В «Списке» под двенадцатым номером значился «Якушкин Евгений Иванович, подполковник (Мещанской части 1-го кварт. в доме Абакумова), сын ссыльного Якушкина, прикосновенного к 14 декабря 1825» [107, 9, 6]. Всего в списке 30 человек, в том числе К. Т. Аксаков, И. Т. Аксаков, А. С. Хомяков, А. И. Кошелев, М. Н. Катков, М. П. Погодин, М. С. Щепкин.

Мы не знаем, доставляло ли внимание III отделения какие-либо осложнения Евгению.хлопоты по делам Достоевского были далеко не единственной линией его описки над сибирскими ссыльными во второй половине 50-х годов. В декабре 1856 г. он извещал Ивана Александровича Анненкова о его сыне (от которого родители, оставшиеся еще в Тобольске, давно не имели известий и потому запросили Евгения) и одновременно предлагал начать хлопоты о получении места для старшего Анненкова в европейской части страны [43, 13, 1—2 об.]. В 1858 г. младший Якушкин участвовал в денежной помощи вдовам декабристов и помогал организационно И. И. Пущину вести финансовые дела сохранявшейся «артели» [44, 331—332 и 351]. После смерти Пущина Евгений Якушкин возглавил всю эту организацию.

Контакты с Якушкиным, по-видимому, способствовали развитию интереса Федора Михайловича к фольклору, возникшему в результате жизни в простонародной среде на каторге. Хотя на предложение Евгения Ивановича записывать народные песни Достоевский ответил 15 апреля 1855 г. сомнениями, он все-таки обещал что-нибудь сделать в этом направлении: «Пишете вы о сборе песен. С большим удовольствием постараюсь, если что найду. Но вряд ли. Впрочем, постараюсь. Сам же я до сих пор не собирал ничего подобного. Меня останавливала мысль, что если делать, то делать хорошо. А случайно собирать, хотя бы народные песни, ничего не сберешь. Без усилий ничего не дается. К тому же занятия мои теперь другого рода. Сколько нужно прочесть, и как я отстал!» [4, 1, 150].

Серьезное отношение к задаче сбора фольклорных материалов сквозит в этом отказе. Впрочем, не полном отказе: писатель объясняет, почему не собирал ранее, но не исключает возможности записывать теперь, после просьбы Якушкина («если что найду»). Но и ранее Достоевский фактически занимался собирательством некоторых видов народного устного творчества. Ведь его Сибирская тетрадь по преимуществу записи фольклора.

Много лет спустя Достоевский по поводу очень важной для него народной притчи напишет Н. А. Любимову, что записал ее сам. Речь идет о третьей главе седьмой книги «Братьев Карамазовых» — «Луковка», где Грушенька рассказывает «басню» о злощестей-презлущестей бабе, которая сделала одно лишь доброе дело за всю жизнь —

луковку нищенке подала. Бог дал возможность ангелу-хранителю вытаскивать ее за эту луковку из огненного озера в рай, но луковка порвалась, когда баба стала оттапливать ногами других грешников, цеплявшихся за нее [14, 14, 319]. В следующей главе — «Кана Галилейская» — Достоевский возвращается к символике луковки. «Сухонький старичок с голосом Зосимы говорит Алеше Карамазову: „Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? и ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое!“» [14, 14, 327].

16 сентября 1879 г. в письме, связанном с подготовкой к изданию «Братьев Карамазовых», Федор Михайлович сказал про легенду о луковке: «Эта драгоценность записана мною со слов одной крестьянки и уж конечно записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор никогда не слышал» [1, 4, 114]. Л. М. Лотман высказала предположение, что это утверждение писателя вызвано лишь тревогой, как бы редакция «Русского вестника» не воспротивилась публикации этого места романа. Взяв легенду из сборника А. Афанасьева, Достоевский, по мнению Л. М. Лотман, сознательно умалчивает об этом, опасаясь цензурной запретности текстов сборника [101, 306—307].

Нам представляется, что Достоевский написал Любимову правду о собственной записи легенды. В семипалатинский период писатель много общался с сибирским крестьянством и казачеством. (Русское население Семипалатинска составляли преимущественно крестьяне и казаки.) Кроме того, по свидетельству А. Е. Врангеля, Федор Михайлович беседовал с крестьянами во время своих поездок на Алтай. Наконец, двухмесячное пребывание в форпосте Озерном тоже означало жизнь среди крестьянства. В 1855—1859 гг. он сделал, по-видимому, ряд фольклорных записей.

В реальности этого предположения убеждает обращение к записи народных легенд, собранных исследователями в близкие сроки на территории юга Западной Сибири. Г. Н. Потанин, который одним из первых начал систематическое собирательство русского фольклора в Сибири [108, 275—276; 109, 158 и след.], посещал в 50-е годы те же районы, где бывал Достоевский. Он записал,

в частности, легенды о чертях, имевшие хождение на этой территории. Л. М. Лотман отметила значение народной демонологии при создании «Бесов». В частности, преломленные легенды о любви женщины к дьяволу в восприятии Хромоножкой (Лебядкиной) Ставрогина [101, 307—311]. Лебядкина, сознанию и речи которой очень органична народная традиция, временами видит в Ставрогине посланца злых сил, принявшего лишь облик ее прекрасного мужа-князя [14, 10, 215—219]. Потанин отметил сюжет посещения чертом женщины в виде известного ей человека как часто встречающийся в обследуемых им районах [110, 143—144].

Огромный труд, проделанный Е. И. Якушкиным по сбору библиографии, отражающей очень полно (включая даже газетные статьи) то, что было написано о народных обычаях, сразу же привлек внимание Достоевского. Как только вышел в 1875 г. в Ярославле первый выпуск библиографии [111], Федор Михайлович сделал помету в своей записной тетради: «Не забыть нужные книги: „Обычное право“ книга Е. Якушкина» [50, 466]. Книга действительно, была куплена — она описана в каталоге библиотеки писателя [52, 42]. Так, даже без встреч, сохранилась внутренняя связь этих двух очень разных людей, родившаяся в сибирских контактах и скрепленная общим глубоким интересом к жизни народа, «верой в свои собственные национальные силы» [14, 5, 61].

Глава восьмая

ЗОСИМА В СИБИРИ

Есть в «Братьях Карамазовых» среди окружающих старца Зосиму лиц крестьянин Анфим. Хотя места на страницах романа уделено Анфиму немного и строки, посвященные ему, важны для описания жизни и взглядов Зосимы, этот образ у Достоевского вполне самостоятелен по значимости.

Впервые Анфим появляется в самом начале шестой книги — «Русский инок», при описании гостей большого старца. «Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек, из беднейшего крестьянского зва-

ния, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его» [14, 14, 257]. Далее читатель узнает, что «этого как бы трепещущего человека старец Зосима любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением, хотя, может быть, ни с кем во всю жизнь свою не сказал менее слов, как с ним, несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствиях с ним вдвоем по всей святой Руси».

Итак, Зосима знал Анфима «всю жизнь свою» и вынес из общения с ним глубочайшую любовь и уважение к молчаливому товарищу. «Было это уже очень давно, лет пред тем уже сорок, когда старец Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном, малоизвестном костромском монастыре и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный костромской монастырек». Оказывается, Зосима сопутствовал Анфиму, а не наоборот, как можно было бы ожидать по первому впечатлению.

К странствиям их Достоевский возвращается в «Житии» Зосимы, рассказывая от его имени о встрече с одним крестьянским юношей ночью на берегу большой судоходной реки [14, 14, 267]: «...в юности моей, давно уже, чуть не сорок лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси». И наконец, в «беседах и поучениях» старца автор еще раз обращается к образу Анфима там, где развивается тема любви к детям. «Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить: он, милый и молчащий в странствиях наших, на подайнные грошики им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст: проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек» [14, 14, 289].

Дружба с Анфимом с оттенком подчинения, обучения у скромнейшего и молчаливого своего товарища, обладателя высоких нравственных качеств, — это не просто питрих в образе Зосимы. Для Достоевского их союз как бы символизирует обращение к народной мудрости, к «почве», поэтому и происхождение Анфима «из беднейшего крестьянского звания» выбрано автором преднамеренно. Исследователи Достоевского до сих пор почти не замечали этого «как бы трепещущего человека», прожив-

шего жизнь рядом со старцем. Между тем их совместное хождение по Руси — значительный факт для анализа концепции автора. Остановив свое внимание на этой стороне прошлого Зосимы и увидев его так, как рисует Достоевский, в странствиях с крестьянином Анфимом, мы получаем возможность по-новому взглянуть на вопрос о прототипах нескольких образов романа и некоторых литературных источниках его.

В этой связи внимание исследователей заслуживает одно сочинение поздней житийной литературы, изданное в 1849 г., посвященное старцу Василиску, в «мире» — крестьянину Василию, родом из Колязинского уезда Тверской губернии. Родители его, экономические крестьяне, занимались обычными крестьянскими работами, детей «воспитывали богоугодно». Многие страницы «Жития» пустытника Василиска заполнены драматическими событиями крестьянской жизни его и старших двух братьев — все трое имели тягу к духовным занятиям и стремились выбраться из своей деревни.

Старший брат Козьма просил у своей общины отпустить его «служить богу», но для односельчан это означало взять на себя его повинности, и крестьяне отказывались. Голова даже предложил высесть отца за это намерение сына — плохо, мол, воспитал. Только вид раи от власяницы и вериг на теле юности (одежда которого порвалась, когда он бросился спасать отца) убедил «мир» в его искренности: община выдала Козьме «вечное увольнение».

Василий выучился грамоте, ходил по монастырям, ухаживал за больным старшим братом. Однажды попытался уехать совсем, взяв тайком увольнительную бумагу Козьмы: но вернулся, мучимый угрызениями совести: паром, на котором он плыл, стал посреди реки, потеряв управление, — Василий оценил это как знамение. И наконец, все-таки покинул родные края для жизни монаха и пустытника, выправив от местных властей «плакатный прокормежный паспорт». Заметим попутно, что крестьяне в таких случаях нередко сталкивались с затруднениями и после многих лет монастырской жизни. В фонде канцелярии Синода сохранились до наших дней дела с перепиской гражданских и церковных властей об отдельных лицах из крестьян различных категорий; выяснялось, получил ли крестьянин от помещика или властей разрешение на уход. Часто вопрос о юридическом

положивши такого послушника всплывал при переводе из одной обители в другую.

Крестьянин Василий, ставший «пустынником» в Василиском, много бродил по Руси, подобно Анфиму Достоевского. «Житие» его рисует картины жизни разных скитов конца XVIII — первой четверти XIX в. и заканчивается описанием сибирского периода скитаний. Тихость и молчаливость Василиска, подчеркиваемые автором жизнеописания, увеличивают сходство со «смирнейшим» персонажем «Братьев Карамазовых». Пожалуй, все это, учитывая особенно крестьянское происхождение, можно было бы уже считать достаточным, чтобы говорить о Василиске как возможном прототипе Анфима. Однако главный факт, ведущий от малоизвестного жития к великому роману, еще не назван: Василиск ходил по Руси не один, а с учеником и другом своим Зосимою. Именно так звали его верного товарища. Более того, само жизнеописание, которое мы сейчас излагали, написано этим спутником; полное название его звучит так: «Житие монаха и пустынника Василиска (писанное учеником его Зосимою Верховским)» [112]*.

Зосима Тобольский, в миру Захарий Богданович Верховский (1767—1835), уже привлекал внимание литературоведов в качестве возможного прототипа старца из «Братьев Карамазовых». Первым Р. Плетнев в 1933 г. посвятил в этой связи З. Б. Верховскому несколько страниц в своей небольшой, но насыщенной фактами статье о прообразах Зосимы Достоевского [86]. В 1935 г. Л. П. Гроссман, а в недавнее время М. С. Альтман [114, 115] отметили Зосиму Тобольского в ряду прообразов известного героя. При этом исторические и литературные источники, содержащие сведения об этом лице, и его сочинения остались вне внимания исследователей. В качестве оснований для аналогии рассматривается лишь сходство названий «Изречений старца схимонаха Зосимы», записанных со слов Верховского, и второй главы шестой книги «Братьев Карамазовых», а также указание в обоих случаях на составление текстов учениками. Достоевский любил давать своим героям имена прототи-

* «Житие» Василиска занимает стр. 14—77 сборника. В экземпляре, принадлежащем библиотеке им. Ленина, которым мы пользовались, нет общего заглавия сборника и выходных данных. Эти сведения установлены по изданию: [113, 144].

пов. Но в этом случае, по мнению М. С. Альтмана, «это собственное имя почти нарицательное, соответствующее любому праведнику» [114, 215; 115, 125].

Следует внести существенные дополнения в перечень черт, сближающих Зосиму из «Братьев Карамазовых» с Зосимой Тобольским. Кроме того, сибирские архивные материалы позволяют увидеть конкретные возможности получения Достоевским подробной информации об этом человеке.

З. Б. Верховский был реальным историческим лицом, хотя отдельные эпизоды его биографии начали обрастать легендами уже при его жизни. События, описанные самим Зосимой в «Житии» Василиска (оно одновременно и автобиография в значительной своей части — настолько тесно соединены были их судьбы), а позднее неким учеником Зосимы в его жизнеописании [113], отражены и в сохранившихся до наших дней документальных материалах — в фондах Синода и Тобольской консистории.

Захарий Верховский — по рождению дворянин, из помещиков Смоленской губернии. В чине поручика вышел в отставку и тайно постригся в монахи под именем Зосимы. Вскоре после пострижения стал учеником известного тогда пустынножителя, старца Адриана, перомонаха Площанской Богородицкой пустыни в Орловской губернии. В последней четверти XVIII в. Адриан в течение многих лет подвизался в непроходимых брянских лесах. Там с ним и жил Зосима в 1786—1787 годах; позднее снова встретился со своим учителем в Коневском скиту, на Украине. В конце XVIII в. Зосима по совету Адриана отправился в Сибирь вместе с другим учеником старца, другом Зосимы, тоже тайным постриженником — Василиском, крестьянином, как было уже сказано, Колязинского уезда. (До прихода к Адриану Василиск жил в скиту в Темниковских лесах Тамбовской губернии.)

Нетрудно заметить, что эта часть биографии Зосимы очень созвучна с той атмосферой возникновения «старчества» на Руси «с конца прошлого столетия», которую передает Достоевский в главе «Старцы» [14, 14, 26—27].

Зосима Достоевского тоже «происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером» [14, 14, 28]. Светское имя его — Эпиковий — перекликается с мирским именем Зосимы Тобольского. Особенное сходство с героем Достоевского придает дружба Зосимы Тобольского с Василис-

ком. Верховский встретил Василиска также в начале иночества и многие годы странствовал вместе с ним. Тёплые чувства и глубокое уважение его к Василиску подчеркнуты и в эпитафии, высеченной в 1826 г. на мраморной доске на могиле, в ограде Туринского Николаевского монастыря [116, 215], и приведенной в тексте «Жития» Василиска. Зосима и Василиск были оба учениками старца Адриана. Указание Адриана, которое было дано этим двум ученикам, — отправиться в Сибирь — перекликается со случаем, описанным Достоевским для характеристики института старчества [14, 14, 27].

Придя в Сибирь в поисках «уединенного и пустынного места», Зосима и Василиск поселились в лесу, в сорока верстах от города Кузнецка. Позднее в их «Житиях» найдут свое место суровые картины сибирской природы и описания трудностей, таившихся в одинокой таежной жизни. Какой-то крестьянин подвозил старцам пищу поближе к скиту, но до самой избушки добраться зимой не мог. Слухи о них стали распространяться по окрестным деревням и в Кузнецке. Рассказывали даже, что медведи при встречах с ними убегали прочь. Этот древний агиографический сюжет для сибирских условий был вполне актуален. Достоевский включил его в разговор молодого Зосимы с крестьянским юношей [14, 14, 268].

Иноков начали посещать местные жители, а некоторые богомолки поселились потом невдалеке от них и «подчинили себя пустынным правилам и уставам». В силу характера последующей деятельности сибирского Зосимы, который стал основателем официально признанного женского монастыря, сохранились документы, отражившие имена и сословную принадлежность этих женщин, их отношение к Зосиме, образ жизни. Эти факты вошли в устные рассказы и статьи в местной печати, оказавшиеся доступными для Достоевского во время ссылки. Обстановка, сложившаяся под Кузнецком, а позднее и под Туринском, вокруг скита Зосимы и Василиска, ассоциируется с описанием размещения женщин около скита Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «— Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там, лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галерее, но вне ограды, две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, госпожа Хох-

лакова, дожидается со своею расслабленной дочерью» [14, 14, 35].

Наиболее активными из кузнецких богомолков, поселившихся около скита и просивших потом Захария Верховского добиться разрешения на основание женского монастыря, были коллежская советница Настасия Николаевна Васильева и ее дочь. В сибирском окружении Зосимы перечислялись, кроме того, женщины из мещан, солдатские и купеческие дочери — документальные предвестницы «верующих баб» Достоевского.

Захарий Верховский в 1821 г. преуспел в своих хлопотах перед архиепископом Тобольским Амвросием, а затем и перед Синодом. Александр I утвердил предложение Синода о превращении одного из заштатных сибирских мужских монастырей в женский; несмотря на избрание настоятельницы, монастырь поручался на первых порах «попечению поручика Верховского, который, не нарушая уединенного жития, удобнее может исполнять сие, жительствуя вне монастыря».

В фонде Синода автором этих строк найдено дело «О обращении Туринского мужского Николаевского монастыря, в Тобольской епархии состоящего, в женское общежитие (1821—1823 гг.)» [117, 1—6]. Из бумаг этого дела вырисовывается необычное положение Зосимы при реорганизации монастыря. Власти называют Верховского поручиком, признавая в то же время его попечителем нового «девичьего монастыря». После того, как состоялся указ Синода о реорганизации (5 ноября 1821 г.), князь П. С. Мещерский запрашивал Тобольск о дальнейшем ходе дел. Архиепископ отвечал ему, что «Г. Верховский отсюда отправился еще в мае месяце, по его словам, в Кузнецк для препровождения желающих водвориться в Туринском монастыре» [117, 175, 2—2 об.]. Документ, связанный с «отставным поручиком Захаром Верховским», обнаружен нами и в фонде Тобольской консистории [118, 49—50 об.]. Он также подтверждает реальность ряда имен и фактов, приведенных в жизнеописаниях Зосимы и Василиска.

Зосима, Василиск и «верующие бабы» перебрались из кузнецких лесов в Туринский монастырь. Здесь, чтобы создать новую обитель, «старцам пришлось вытерпеть немало неприятностей и гонений, не только от местной земской полиции, «искавшей от иноков подарков и взяток, но даже и от духовенства», — так писали позднее в

сибирской прессе [119, 82]. Подобные трудности отмечены Достоевским при описании положения института старчества в России [14, 14, 27].

Во всех событиях, связанных с основанием монастыря, возникших позднее внутренних расприх Василиск не участвовал, живя невдалеке пустынноиком. Из биографии Зосимы (Верховского) он вырисовывается молчаливым и близким по характеру к Аифиму Достоевского. В то же время между Зосимой Тобольским и Василиском существовали отношения ученика и учителя.

В январе 1825 г. указом Синода, повторенным Тобольской консисторией, попечителя Туринского женского монастыря поручика Верховского велено было «от сей должности удалить». После смерти Василиска Верховский оставил Сибирь и в шестидесяти верстах от Москвы; в Верейском уезде, основал пустынную Одигитриевскую девичью общину, где и умер в 1833 г. (по другим данным — в 1835 г.).

Все эти сведения были известны А. И. Сулоцкому, собиравшему материалы по истории сибирских церквей и монастырей, в том числе и Туринского. В «Авторской исповеди», опубликованной после смерти Сулоцкого, есть указание на Григория Александровича Варлакова, сослуживца его по Тобольской семинарии (ставшего потом советником Тобольского губернского правления), как на человека, собиравшего архивный материал по его поручению [93, 10, 229]. Этот факт интересует нас в той связи, что именно Григорий Варлаков опубликовал в «Тобольских ведомостях» в 1859 г. статью «Туринск», где была изложена история Зосимы — до первого издания его жития [120]. Статья Варлакова вышла из печати, когда Достоевский был еще в Сибири.

О Зосиме Тобольском Федор Михайлович мог узнать особенно много от сибирского краеведа Н. А. Абрамова, который при Достоевском жил сначала в Омске, потом — в Семипалатинске [28, 3571, 302—313]. По формулярному списку Николай Алексеевич Абрамов с мая 1853 г. служил в Омске столоначальником Главного управления Западной Сибири, а с октября 1854 г. — советником в Семипалатинске. Семипалатинский друг Достоевского А. Е. Врангель писал 1 января 1855 г. декабристу П. И. Пущину в Ялуторовск: «Общество здесь порядочное и можно составить славный кружок; я очень сошелся с Достоевским и Абрамовым» [36, 34, 1 об.]. В марте этого

же года Врангель сообщал в Петербург И. П. Сахарову: «Я сошелся здесь с Абрамовым, которого вы, вероятно, знаете по его статьям» [121, 14161, 17 об.].

К этому времени Абрамов, неутомимый собиратель материалов о сибирской старине, автор многочисленных статей, был уже членом-сотрудником Географического общества и Императорского археологического общества [28, 3571, 307 об. и 309 об.]. В 1858 г. он по-прежнему жил в Семипалатинске и входил в круг знакомых Достоевского, как свидетельствуют документы Омского архива [25, 3893, 217 об.].

Историей Туринского Николаевского девичьего монастыря Н. А. Абрамов занимался специально в течение нескольких лет, и в центре опубликованной им позднее статьи об этом саяла фигура Зосимы Верховского. В статье, изданной в 1865 г., он писал, что к имевшимся ранее в его распоряжении сведениям он прибавил материал, собранный в Туринске в 1863 г. (Абрамов видел, в частности, в монастыре портрет Василиска, писанный маслом) [122, 289—290]. В этом же, 1863-м, году Абрамов прислал в журнал Достоевских «Время» свою рукопись «Спокойная жизнь. Сибирский роман» [123, 287].

Р. Плетнев высказывал предположение о том, что Достоевский слышал о Зосиме Верховском уже в Сибири. Но Плетнев связывал эту возможность с жизнью Достоевского в Кузнецке, так как Зосима жил в лесу недалеко от этого города [86, 84]. Кратковременность пребывания писателя в Кузнецке, где его помыслы были заняты свадьбой с Марией Дмитриевной Исаевой, ставит под сомнение такое предположение. Знакомство Достоевского с Н. А. Абрамовым и А. И. Сулоцким, располагавшими большим материалом о сибирском периоде Зосимы, появление еще при Достоевском сведений о нем в местной периодике — более убедительно говорят о сибирских источниках информации.

Кроме того, устные рассказы о Зосиме шли непосредственно из Туринска, с которым достаточно тесно было связано окружение Достоевского. Когда писатель жил в Сибири, в Туринском монастыре еще жили женщины, знавшие Верховского и всю его историю (одна из них дожила до 100 лет). В Тобольске в доме у Менделеевых останавливалась во время своих поездок игуменья монастыря, приехавшая некогда из-под Кузнецка вместе с Зосимою и Василиском (в этот монастырь собиралась

уйти Аполлинария Менделеева — сестра химика). О приезде игуменьи сообщала М. Д. Менделеева в Омск, своей старшей дочери — Е. И. Капустиной. В омском доме Капустиных (где побывал Достоевский) принимали монахинь из Туринска. Бывала в Туринске Ольга Менделеева, жена декабриста Басаргина, жившая в начале 50-х годов в Омске [84, 63 и 65].

К первичным сведениям, полученным в Сибири, и к первому интересу к фигуре Зосимы, возникшему, по-видимому, тогда уже у Достоевского, позднее прибавились впечатления от его сочинений, жития и «Поучений». Вторая и третья главы шестой книги «Братьев Карамазовых» написаны Достоевским с намеренным сходством по форме и частичной перекличкой по содержанию с этим комплексом поздней житийной литературы. Название второй главы у Достоевского как бы соединяет названия двух жизнеописаний — Василиска и Зосимы [14, 14, 260]. Эта глава посвящена собственно биографии старца. «Изречения старца схимонаха Зосимы и некоторые о нем и его сказания» и «Извлечения из сочинений старца схимонаха Зосимы» в «Братьях Карамазовых» имеют соответствие в третьей главе — «Из бесед и поучений старца Зосимы» [14, 14, 284].

Сходен и характер названий отдельных разделов. Приведем сопоставление некоторых из них, близких по структуре или внутреннему ритму.

У Достоевского:	В «Жизни» Зосимы Верховского: (по изд. 1860 г.)
О юноше брате старца Зосимы	О родителях отца Зосимы.
О священном писании в жизни отца Зосимы.	О вступлении отца Зосимы в жизнь иноческую и о старце Василиске.
Что об иноке русском и о возможном значении его.	
Воспоминания о юности и молодости Зосимы еще в миру.	Обстоятельства, окончательно побудившие Захарию оставить мир.
Поединок.	

«Жизнь в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы» имеет главу, посвященную рассказу о пустынножителях; глава так и называется «О пустынно-

ках». Тема ее решается у Достоевского в главе «Старцы» первой книги романа [14, 14, 24—31]. В жизнеописании реального Зосимы приводится пространное послание его к пустыннику старцу Досифею, где подробно трактуется вопрос об иночестве [113, 83—108]. Как известно, раздел «Нечто об иноке русском и о возможном значении его» открывает у Достоевского главу «Из бесед и поучений старца Зосимы».

Реальный Зосима иногда ссылается на Исаака Сирина (в частности, рассуждая о том, оправдан ли уход от общения с другими, цитирует этого автора: «иным полезное сожительство со многими, а иным — отшельство» [113, 89 и 93]); у Достоевского этот автор упоминается в подготовительных материалах к «Братьям Карамазовым» [14, 15, 203 и 205].

Темы нестяжания и послушания, выделенные Зосимою Верховским, важны и для писателя, хотя, как и в других случаях, он наполняет их своими мыслями, связывая идею иночества с социальной действительностью своего времени. Для Достоевского уединение инока, прежде всего, способ сохранения народной духовной традиции, сбережения «сердца» народа («в тишине воспитайте его»). А если понадобится, «те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело» [14, 14, 285]. Созвучны мотивам романа в «Изречениях» Зосимы Верховского также наставления «Сомневающемуся юноше» (у Достоевского — «Юноша, не забывай молитвы» [14, 14, 288]) и рассказ «Юноша и бес».

Все сказанное убеждает нас в том, что Зосима Сибирский был одним из основных лиц в богатой галерее прототипов героя Достоевского.

Мы уже отмечали, что «Житие» Василиска, написанное Зосимою Верховским, вышло из печати накануне отправки Достоевского в Сибирь. Пока не удалось установить, когда познакомился писатель с этим сочинением; но можно с уверенностью говорить, что Достоевский знал его. И не только в связи с образами Анфима и Зосимы. В одной книге с жизнеописанием Василиска была издана другая вещь Верховского — «Жизнь и подвиги Петра Алексеевича Мичурина, в пустынях Сибири» [112, 1—3], отзвуки которой мы тоже находим у Достоевского*.

* Об авторстве З. Б. Верховского и о личном знакомстве его с П. А. Мичуриным говорит примечание на стр. 13 этого издания.

Петр Мичурин — юноша-сибиряк, который пришел к Василиску и Зосиме, когда они жили под Кузнецком. Он поручил себя Василиску «с верою и любовью в неразумное повиновение и во всякое послушание». Старец отказывался быть ему духовным отцом, ссылаясь на свое простонародное происхождение, но Петр остался при нем в роли послушника. Облик юноши Петра и характер взаимоотношений его со старцем несомненно близки к ряду черт Алеши Карамазова.

Петр, как и Алеша, происходил из дворянской семьи и получил домашнее воспитание. Как и молодому герою Достоевского, Мичурину было двадцать лет, когда он явился к старцам. Автор жития подчеркивает «простосердечное обращение» Петра. Несмотря на молодость, «имел он дарование благоразумных советов; еще найдясь в мире, был учителем; многих увещевал, даже девиц и вдов», «Да и ко всем пламенел он усердием и истинною любовью, был дружелюбен, благовоен, всегда осуждал и уничижал себя самого, во всем предызбирал для себя худшее и труднейшее, каждому во всем услужить старался и со всеми жил всегда единоюдушно...» [112, 7].

Эти характеристики прототипа Алеши Карамазова в биографии его провозглашены в значительной мере декларативно (автор жития раскрывает преимущественно преданность его вере), у Достоевского же они художественно решены в конкретных ситуациях.

Академиком Д. С. Лихачевым поставлена проблема исследования связи творчества Достоевского с древнерусской литературой [99]. «Русская литература, — пишет Лихачев, — все более и более предстает в своем единстве; единстве историческом и единстве борьбы и союза внутри каждой эпохи» [124]. В этом направлении интересный и убедительный анализ проделан В. Е. Ветловской, сопоставившей «Житие Алексея человека божия» с романом Достоевского. Ветловская показала, что Достоевский сознательно стилизует Алешу Карамазова под героя житийной литературы [125, 162—197].

«Он (Петр Мичурин.— М. Г.) скончался в Сибири прежде своего Старца Василиска за несколько лет, а Старец умер 1824 года тоже в Сибири.— Спикатель же его жития, монах Зосима, ученик Василиска, скончался 1833 года в сентябре месяце — в старости мастиной, был свидетелем сам подвигов Петра».

Следовательно, современная писателю поздняя житийная литература и некоторые разделы «Братьев Карамазовых» имеют общих литературных предшественников. Но близость с циклом житий, связанных с Зосимом Верховским, к этому не сводится. Для Достоевского это был один из источников информации о той стороне жизни России, которую он сравнительно мало знал по личному опыту, но которой интересовался. Фактическая канва биографий, образ жизни «пустынников», взаимоотношения в этой среде, типы людей, высказывания их — все это в сочетании с устными рассказами давало писателю жизненный материал для художественного анализа. Обращение исследователей к этому русскому источнику, на наш взгляд, более обосновано, чем поиск, например, прототипа Алеши Карамазова в романе Жорж Санд [12б, 11—12].

Сибирский юноша Петр Мичурин, о котором написал З. Верховский и о котором Достоевский мог не только читать, но и слышать рассказы в Сибири, послужил прототипом, по-видимому, не одного Алеши Карамазова. Вспомним, что «сведения биографические» о Зосиме у Достоевского начинаются разделом «О юноше брате старца Зосимы» [14, 14, 260—263], где рассказывается о старшем брате Маркеле. Рапо умерший от болезни, он произвел неизгладимое впечатление на Зосиму, определившее в значительной мере его судьбу. Облик хрупкого физически и одухотворенного Маркела, проливающего слезы умиления и радости, более созвучен Петру Мичурину, чем крепкий здоровьем Алеша, достаточно твердо стоявший на ногах и в делах мирских. О Петре в жизнеописании его сказано: «плачет при всех открыто: слезы льются неудержимо». То же у Достоевского о Маркеле. Оба отмечены печатью откровения и сгорают рано, как бы не в силах вынести этого постижения сути всего окружающего их мира.

В переключке рассматриваемого житийного цикла с «Братьями Карамазовыми» можно увидеть и рождение двух образов из одного прототипа и другое явление — привлечение нескольких прототипов при формировании одного образа. Это многозначное созвучие связано прежде всего с линией взаимоотношений старцев и юношей и характеристикой тех и других. Старцу Зосиме Достоевского прототипом служил в житийном цикле Зосима Верховский, по отчасти и Василиск, в котором отчетливо об-

паруживаются проточерты Анфима, дал писателю материал для образа Зосимы (особенно его отношения с послушником Петром Мичуриным).

В свою очередь, Зосима из житийного цикла (Захарий Верховский) в молодости во многом близок к образу Алеши. Дело в том, что в «Житии» Захарий не проходит тот сложный путь от себялюбия, высокомерия и безудержного разгула в молодости, завершившийся кризисом и откровением накануне поединка, который раскрывает Достоевский у своего Зосимы. В «Житии» он смолodu добр и благостен, как Алеша Карамазов, хотя и служит сначала гвардейским офицером; подобно Алеше, он находит в скиту своего старца. Таким образом, в рассматриваемом цикле прослеживаются два прототипа Алексея Карамазова: Петр Мичурин и молодой Захарий Верховский.

И если юноша Маркел Достоевского по самой сути образа удивительно повторяет Петра Мичурина, то ситуация Маркел — его младший брат Зиновий (будущий Зосима) имеет другую протоситуацию в житийном цикле: больной и благочестивый, по житийной характеристике, старший брат Василиска сыграл в его жизни такую же роль, как Маркел в жизни Зосимы.

Биографии Василиска и Петра Мичурина, как мы отмечали, были изданы в одной книжке. Третье небольшое сочинение, включенное в этот же сборник [112, 75—77], не принадлежало перу З. Б. Верховского. Но и оно представляет интерес отзвуками в романе Достоевского, которые дают дополнительное свидетельство знакомства писателя с этим изданием в целом. Это — повесть о юродивом монахе Ионе. Автор ее и характер создания раскрыты в примечании: «Сия повесть о Юродивом Ионе собрана из разных достовернейших сказаний старожилóв, старанием иеромонаха Паисия, бывшего строителя на Махре, на Песноши же пустышником и великим рачителем, который и преставился после многотрудной и жесткой болезни, в добром христианском исповедании, по 40 летax жития своего, 1838 в июле месяце» [112, 77].

В этой записи сразу же обращает на себя внимание имя Паисия — у Достоевского так назван духовник Зосимы, близкий ему человек, ставший его преемником и в отношении Алеши, прозорливо, по выражению автора, проникающий в настроения юноши. В уста Паисия Достоевский вложил ряд важных для автора идей. В отли-

чие от молчаливого скромного Анфима, Паисий говорит охотно, начитан, решительно вступает в спор, в наставлениях категоричен. Это он напутствует Алешу для жизни «в миру»: «Помни, юный, неустанно,— так прямо и безо всякого предисловия начал отец Паисий,— что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мiра сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты» [14, 14, 155]. С автором повести об Ионе героя Достоевского сближают суровая «рачительность», стиль речи, возраст, соседство с именем Зосимы.

Сама история юродивого Ионы непосредственно упоминается в романе, в главе «Отец Ферапонт». Рассказывая о Ферапонте, Достоевский пишет: «Было ему лет семьдесят пять, если не более, а проживал он за скитскою пасекой, в углу стены, в старой, почти развалившейся деревянной келье, поставленной тут еще в древнейшие времена, еще в прошлом столетии, для одного тоже величайшего постника и молчальника, отца Ионы, прожившего до ста пяти лет и о подвигах которого даже до сих пор ходили в монастыре и в окрестностях его многие любопытнейшие рассказы» [14, 14, 151]. Более того, юродивый Иона из повести сборника по многим признакам послужил прототипом Ферапонта Достоевского. Ферапонт, как и Иона, престарелый монах, «великий постник и молчальник», живущий в стороне от монастыря. Многие «видели в нем несомненно юродивого». Сближает их и неприязнь к монахам-книжникам (Иона опасался, по выражению повести, что его «поцлюют книгою», а Ферапонт у Достоевского радуется, что защищен «от премудрости» [14, 14, 303]).

По облику и повадкам Ферапонт близок к герою повести и устных преданий Ионе, однако у Достоевского этот персонаж исполнен совершенно иным философским и художественным содержанием. В Ферапонте Достоевский запечатлел полное неприятие свое религиозного фанатизма, воинствующего невежества. Мрачному озлобленному Ферапонту в романе противостоит образ Зосимы, мудрого и благожелательного. Отрицание фанатизма, провозглашенное в самом начале «Братьев Карамазовых», в характеристике Алеши («Прежде всего объявляю, что

этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик...» [14, 14, 17]), получило блестящее развитие в образе Ферапонта.

Достоевский не идеализирует среду Зосимы: здесь не только Анфим и Паисий, но и Ферапонт и «инок шнырющий и проворный» из Обдорской обители, сердце которого «все же лежало больше к отцу Ферапонту, чем к отцу Зосиме», — «острые и любопытные глазки» его выглядывали из-под руки Ферапонта, вопившего обличения в адрес умершего Зосимы.

В случае с Ионой, как и в рассмотренных выше отношениях, «так называемые прототипы (в применении к Достоевскому, как мы пытались показать, о них можно говорить лишь условно) служат писателю своеобразным трамплином, отталкиваясь от которого он вырабатывает свою философско-художественную интерпретацию действительности» [127, 123].

Можно с уверенностью утверждать, что житийный цикл, связанный с Зосимом Верховским (сборник 1849 г. и жизнеописание самого Зосимы), был известен Достоевскому и должен быть отнесен к числу материалов, использованных при написании «Братьев Карамазовых». Вполне реальной представляется также возможность знакомства писателя с устными рассказами о Зосиме Верховском, Василиске и Петре Мичурине в Сибири, так как лица из омского и семипалатинского окружения Достоевского были хорошо осведомлены о них.

Глава девятая

ЧОКАН ВАЛИХАНОВ И ДОМ КАПУСТИНЫХ

В Омске, в доме у Ивановых, Достоевский познакомился с Чоканом Чингисовичем Валихановым [29, 95]. Молодой человек, обладатель экзотической биографии (он был внуком последнего хана Средней орды Валия и правнуком хана Аблая), талантливый и обаятельный, пришелся по сердцу Федору Михайловичу, и знакомство имело продолжение.

Чокану в это время было всего девятнадцать лет. Лишь несколько месяцев назад он закончил Сибирский кадетский корпус под опекой И. В. Ждан-Пушкина, рас-

стался со своим одноклассником и другом Г. П. Потаниным, которого направили офицером в полк в прииртышские степи, и служил теперь личным адъютантом генерал-губернатора Г. Х. Гасфорда. Пребывание в Омске он активно использовал для пополнения образования, внимательно следил за столпчными журналами и был принят в тех домах города, где царили не карты, а разговоры на общественные и литературные темы [12, 255—256].

Характер отношений Достоевского и Валиханова лучше всего предстает из письма Федора Михайловича Чокану, посланного из Семипалатинска в Омск 14 декабря 1856 г., когда дружба их насчитывала уже почти три года: «Письмо ваше, добрейший друг мой, передал мне Александр Николаевич. Вы пишете так приветливо и ласково, что я как будто бы увидел вас снова перед собой. Вы пишете мне, что меня любите. А я вам объявляю без церемонии, что я в вас влюбился. Я никогда ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения как к вам, и бог знает как это сделалось. Тут бы можно много сказать в объяснение, но чего вас хвалить! А вы верно и без доказательств верите моей искренности, дорогой мой Вали-хан, да если бы на эту тему написать 10 книг, то ничёго не напишешь: чувство и влечение дело необъяснимое» [1, 1, 200].

Письмо это писалось уже после новой их встречи в Семипалатинске, довольно длительной, судя по тому, что Федор Михайлович упоминает об общих знакомых и деталях семипалатинской жизни: «Вам кланяется Демчинский. Пишу вам у него на квартире, за тем столом, на котором мы обыкновенно завтракали или вечером пили чай...» И там же: «С. вам кланяется, рассказывала, как вы ее сманивали в Омск. Она о вас помнит и очень вами интересуется» [1, 1, 202].

Офицер Демчинский был в Семипалатинске адъютантом губернатора — генерал-майора Главного штаба Панаова. Этот «блестящий армейский офицер» (по характеристике Семенова-Тян-Шанского), живой и остроумный, содействовал встречам Достоевского с его друзьями — Валихановым и Семеновым-Тян-Шанским: они останавливались в его доме, как лица, принимаемые официально военным губернатором, — гостиниц в Семипалатинске не было. Демчинский сопровождал писателя во многих поездках — в Барнауль, на Локтевский завод и в Змнев.

Здесь, в письме к Валиханову, Достоевский рассказывает об одной из этих поездок: «Когда мы простились с вами извозка, нам всем было грустно после целый день. Мы всю дорогу вспоминали о вас и в запуски хвалили. Чудо как хорошо было бы, если б вам можно было с нами поехать! Вы бы произвели большой эффект в Барнауле. В Кузнецке (где я был один) (NB это секрет) — я много говорил о вас одной даме; женщине умной, милой с душой и сердцем, которая лучший мой друг. Я говорил ей о вас так много, что она полюбила вас никогда не видя, с моих слов, объясняя мне, что я изобразил вас самыми яркими красками. Может быть, эту прекрасную женщину вы когда-нибудь увидите и будете тоже в числе друзей ее, чего вам желаю. Потому и пишу вам об этом. Я почти не был в Барнауле. Впрочем был на бале и успел познакомиться почти со всеми. Я больше жил в Кузнецке (5 дней). Потом в Змиеве и в Локте. Демчинский был в своем обыкновенном юморе во все время. Семенов превосходный человек. Я его разглядел еще ближе» [1, 1, 200].

Федор Михайлович тайно (без разрешения начальства, которым была санкционирована лишь поездка в Барнаул вместе с Демчинским и Семеновым-Тянь-Шанским) побывал в Кузнецке у Марии Дмитриевны Исаевой, будущей жены писателя. Взволнованный рассказ о ней Валиханову, сопровождаемый выражением надежды на их дружеские отношения в дальнейшем — еще одно свидетельство чувств Достоевского к Чокану.

Но главное место в этом замечательном письме занимает разговор о самом важном для Валиханова: «Вы пишете, что вам в Омске скучно, — еще бы! Вы спрашиваете совета: как поступить вам с вашей службой и вообще с обстоятельствами. По-моему вот что: не бросайте заниматься. У вас есть много материалов. Напишите статью о Степи. Ее напечатают (помните мы об этом говорили). Всегда лучше если б вам удалось написать нечто в роде своих Записок о степном быте, вашем возрасте там и т. д. Это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Так было бы ново, а вы конечно знали бы, что писать (н. прим. вроде Джона Тиннера в переводе Пушкина, если помните). На вас обратили бы внимание и в Омске и в Петербурге» [1, 1, 200—201].

Достоевский затрагивает тему, которая уже ранее, при встречах, обсуждалась, — об исследовании и описании

Валихановым быта его единоплеменников, жителей степи. Следует отметить, что в омском и семипалатинском окружении писателя большое место занимали интересы, связанные со взаимоотношениями России и Востока. В Омске размещались Главное управление Западной Сибири, Областное управление киргизами (под этим названием подразумевались казахи и смежные народы Средней Азии) и Штаб Сибирского отдельного корпуса (включавшего и казачьи части). Освоение и защита обширных территорий, расположенных к югу от Омска, требовали в 50-е годы решения многих сложных дипломатических, исследовательских и стратегических задач, привлекавших сюда талантливых людей, незаурядных специалистов в разных сферах науки, управления и военного дела. Здесь работали П. П. Семенов-Тянь-Шанский, М. М. Хоментовский, И. Ф. Бабков и другие.

Общение с этими людьми, непосредственное и длительное соприкосновение с их деятельностью и задачами, с их патриотическими настроениями — все это состоялось для Достоевского в семипалатинский период ссылки и в конечном счете оказало определенное влияние на его взгляды. В Омске стены тюрьмы отгораживали его от этого мира. Но и здесь отдельные встречи, разговоры, слухи, полтора месяца жизни в городе после каторги — таковы были возможности контактов. Завязавшиеся в Омске знакомства имели прямое или косвенное (через общих друзей) продолжение в Семипалатинске. Специфика обстановки сказывалась даже в госпитале, где подолгу оставался Федор Михайлович: врачи время от времени откомандировывались в расположенные на юге войска [128, 27—28]. Польский ссыльный Ш. Токаржевский описал в мемуарах сцену, в которой срочно уезжающий в казачью станицу, за 140 верст от Омска, ординатор забегает в шубе в палату — проститься с Достоевским и передать ему немного денег [129, 495—512]. Тема Россия — Восток особенно естественна была в беседах Федора Михайловича с Чоканом Валихановым.

Далее в письме Достоевский рисует обстоятельный план жизни Чокана — пополнение образования, установление научных связей. «Материалами, которые у вас есть, вы заинтересовали бы Географическое общество. Одним словом, и в Омске на вас смотрели бы иначе. Тогда вы бы могли заинтересовать даже родных ваших возможностью новой дороги для вас. Если хотите буду-

ице лето пробывать в степи, то ждать еще можно долго. Но с 1-го сентября будущего года вы бы могли выпроститься в годовой отпуск в Россию. Год прожив там, вы бы знали, что делать. На год у вас были бы средства. Поверьте, что их нужно не так много. Главное с неким расчетом жить и новый взгляд иметь на это дело. Все относительно и условно. В этот год вы бы могли решиться на дальнейший шаг в вашей жизни. Вы бы сами выяснили себе результат, т. е. решили бы, что делать далее. Воротясь в Сибирь, вы бы могли представить такие выгоды или такие соображения (мало ли что можно изобразить и представить?) родным своим, что они пожалуй выпустили бы вас и за границу, т. е. года на два в путешествие по Европе. Лет через 7, 8 вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей родине».

Письмо рисовало не только последовательность действий, но и самую суть деятельности Чокана Валиханова: «...не велика ли цель, не святое ли дело, быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине, просвещенным ходатайством за нее у русских. Вспомните, что вы первый Киргиз,—образованный по-европейски вполне. Судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав вам и душу и сердце» [1, 1, 201].

В сущности вся последующая жизнь Чокана, короткая, но яркая и насыщенная творчеством, была реализацией этой смелой программы, продиктованной другом. «Не смейтесь над моими утопическими соображениями и гаданиями о судьбе Вашей, мой дорогой Вали-Хан. Я так вас люблю, что мечтал о вас и о судьбе вашей по целым дням».

Реализовать эту программу активно помог Валиханову Петр Петрович Семенов (в это время еще не Тянь-Шанский), который в 1856 г. возобновил с Достоевским давнее петербургское знакомство, а с Валихановым познакомился впервые. В длительной географической деятельности Семенова определяющими были 1856—1857 гг., годы путешествий в Тянь-Шань, положивших начало блестящим русским экспедициям в Центральную Азию. В эти годы Петр Петрович побывал в ряде городов и селений Западной Сибири; в некоторых из них (в частности, в Омске и Семипалатинске) — по несколько раз, а в

Барнауле провел всю зиму 1856/57 г. Сразу же по приезде в Сибирь, в июне 1856 г., Семенов был в Омске — для переговоров с Гасфордом о своей экспедиции.

«Во время короткого моего пребывания в Омске, — вспоминает путешественник в своих мемуарах этот первый приезд в тогдашний центр Западной Сибири, — я успел познакомиться, хотя еще довольно поверхностно, с лучшими деятелями города <...> Но особенное внимание мое обратили на себя двое талантливых молодых офицеров, незадолго перед тем окончивших курс в Омском кадетском корпусе, которые сами искали случая познакомиться со мной». Первым из них был Г. Н. Потанин. «Другим лицом, особенно меня заинтересовавшим в Омске, был Чокан Чингисович Валиханов <...> Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов окончил с большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии уже в Петербурге, под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо освоился с французским и немецким языками, что сделался замечательным эрудитом по истории Востока и в особенности народов, соплеменных киргизам <...> Само собой разумеется, что я почел долгом обратить на этого молодого талантливого человека особенное внимание генерала Гасфорта и по возвращении моем из путешествия в Тянь-Шань подал мысль о командировке Валиханова в киргизской одежде с торговым караваном в Кашгар, что и было впоследствии осуществлено Валихановым с полным успехом» [130, 53—54].

В сентябре 1857 г., перед возвращением в Петербург, Семенов снова видел Достоевского в Семипалатинске, а заехав после этого в Омск, с прощальным визитом к губернатору, опять, еще более настойчиво (видимо, не без влияния Федора Михайловича), ходатайствовал перед Гасфордом о Валиханове. Он просил командировать Чокана в Кашгар для сбора сведений о гибели Адольфа Шлагинтвейта, судьба экспедиции которого интересовала Русское и Берлинское географические общества; предостояло разыскать все, что могло уцелеть из материалов экспедиции. Идея этой поездки принадлежала Семенову. А остальное в его ходатайстве соответствовало программе Достоевского: «...до возвращения Валиханова дать ему возможность, оставаясь на службе при генерал-губернаторе, приехать в Петербург на продолжительное время для разработки превосходных, уже собранных им

этнографических и исторических материалов о Киргизской степи». «При этом я обещал Валиханову, — писал Семенов, — широкое покровительство и содействие Географического общества» [130, 249—250].

В 1856—1858 гг., отправляясь в путешествия по степи, Валиханов заезжал в Семипалатинск и друзья имели возможность встречаться [131, 136]. Последняя сибирская встреча писателя с Чоканом произошла летом 1859 г., когда Федор Михайлович с женой заехал на несколько дней в Омск, чтобы взять из кадетского корпуса Пашу и проститься с друзьями, оставляя Сибирь навсегда. Описывая омские встречи в письме к своему семипалатинскому знакомому А. И. Гейбовичу от 23 октября 1859 г., Достоевский сообщил, что Валиханова требуют в Петербург и через месяц (с момента омской встречи) он должен туда поехать [1, 1, 269].

Действительно, успешная экспедиция молодого ученого-казаха привлекла к нему внимание Егора Петровича Ковалевского — известного ориенталиста, занимавшего в эти годы пост директора Азиатского департамента, и теперь Чокан получил поддержку не только Географического общества, но и официальных лиц [131, 138]. В письме к А. Е. Врангелю, тоже из Твери, 31 октября 1859 г. Достоевский просил узнать о Чокане Чингисовиче. «Ягдташ же взял и маленький кинжал (как не лежавший в чемодане) я почел своею собственностью, так как вы мне все подарили, и уезжая подарил в свою очередь между прочим кинжалик Валиханову. Уж за это простите. Валиханов премилый и презамечательный человек. Он, кажется, в Петербурге? Писал я вам об нем? Он член Географического общества. Справьтесь там о Валиханове, если будет время. Я его очень люблю и очень им интересуюсь» [1, 1, 278—279]. Заметим попутно, что Врангель встречался потом с Валихановым в Петербурге [29, 95].

Отношения Достоевского с молодым ученым имели продолжение в Петербурге, но короткое по срокам: весной 1861 г. Валиханов возвратился в родные степи. В последующие годы Чокан Чингисович и Достоевский обменивались письмами [38, 107—113]. Федор Михайлович познакомил Валиханова в столице с самыми близкими людьми — братом Михаилом и А. Н. Майковым — это видно из писем Чокана к петербургским знакомым [132, 16743, 2 об.; 133, 134, 2 об.]. В бурной обществен-

ной жизни Петербурга 1860—1861 г. заметнее стали расхождения во взглядах. Чокан сразу же вошел в кружок сибирского землячества, где под руководством Г. Н. Потанина и Н. М. Ядрищева рождалось областническое движение, которому не мог сочувствовать Достоевский. У Валиханова, в свою очередь, вызывала некоторое недоумение платформа журнала «Время», который начал выходить, когда Чокан был еще в Петербурге, и за которым он продолжал следить, получая его в Кокчетаве.

В письме к А. Н. Майкову от 6 декабря 1861 г. [132, 16743, 1—2 об.]*, где Валиханов тепло благодарит Аполлона Николаевича и всю его семью за «участие и благорасположение», проявлявшиеся в течение всего знакомства, и подробно рассказывает о своей жизни и занятиях, он пишет, в частности: «Что делают Достоевские? — Они редко пишут, в чем, вероятно, я сам виноват, потому, что редко отвечаю. Как их журнал идет? Кажется, хорошо, судя по объявлениям <...> издания. Говоря откровенно, я что-то плохо понимаю их почву, народность, то славянофильством пахнет, то западничеством крайним, примирения что-то не выходит или не удается им это примирить. По-моему, что-нибудь да одно, или преобразования коренные по западному образцу, или держаться старого, даже старую веру надо не потерять. Китайское среднее не идет теперь к делу <...>, а образование должно быть общечеловеческое» [132, 16743, 2 об.].

В Записной книжке Достоевского осенью 1861 г. (судя по контексту) Валиханов записан вторым в перечне из семи лиц, которым надо написать [50, 155]. О неизменности чувств писателя к молодому казаху до конца его короткой жизни (в 1865 г. Чокана не стало) и светлой памяти о нем мы узнаем из прекрасного эпизода воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской, рассказавшей, как в ноябре 1866 г., в день, когда Федор Михайлович сделал ей предложение, он начал разговор рассказом о своем сне: «Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова,

* В письме год не указан. На обложке дела карандашом написан 1862 г., эта дата повторена и в литературе [90, 310]. Нам представляется правильное датировать это письмо Ч. Ч. Валиханова 1861 г., так как в начале июня 1862 г. Достоевский уехал за границу и мало вероятно, чтобы в течение полугода Чокан, переписывавшийся с несколькими лицами в Петербурге, в том числе с братьями Достоевскими, не знал об этом.

и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает...» [32, 45].

Сибирский друг Достоевского, встреча с которым принесла Федору Михайловичу добрую и эмоционально яркую привязанность, был одним из тех, через кого и в семипалатинский период поддерживались омские знакомства. Мы уже говорили о приездах и длительных пребываниях в Семипалатинске самого Чокана. Письма от него Достоевскому и обратно возил, в частности, Александр Николаевич Цуриков, которого Федор Михайлович трижды упоминает в своем письме («Цуриков мне нравится, он прям, но я еще мало знаю его») [1, 1, 200 и 202]. Цуриков был адъютантом князя Горчакова в Омске в период каторги Достоевского [24, 273].

Когда Ольги Ивановны и Константина Ивановича Ивановых не было уже в Омске, Валиханов оставался одним из звеньев, связующих Федора Михайловича с кругом декабристов. Он был своим человеком в другом омском доме, близком к тобольско-ялutorовской колонии декабристов и к семье Знаменских, жившей теперь в Омске. Речь идет о доме старшей сестры Д. И. Менделеева, Екатерины Ивановны, в замужестве — Капустиной.

Многолетняя семья директора тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева (знаменитый химик был в ней четырнадцатым ребенком) в течение многих лет была связана с декабристами. Дмитрий Иванович Менделеев, приехав в 1899 г. в город своего детства, записал в официально опубликованном отчете о поездке: «А тут жили почтенные и всеми уважаемые декабристы Фонвизин, здесь Анненков, тут Муравьев, близкие к нашей семье, особенно после того, как один из декабристов, Н. В. Басаргин, женился на моей сестре, вдове Ольге Ивановне. Уж нет никого из тех в живых и теперь можно говорить, что семьи декабристов в те времена придавали Тобольской жизни особый отпечаток, наделяли ее светлыми воспоминаниями. Предание о них до сих пор живет в Тобольске...» [134, 426—427].

Жена директора гимназии — Мария Дмитриевна, в девичестве Корнильева, — принадлежала к купеческой семье, известной своей просветительской деятельностью:

ее дед — Василий Яковлевич Корпильев — владел первой в Сибири частной типографией и издавал журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», а отец, продолжая издательское дело, писал статьи краеведческого характера [135, 23—28]. Мария Дмитриевна много внимания уделяла образованию детей.

Старшая дочь Екатерина вышла замуж за Я. И. Капустина, получившего назначение по службе в Омск в 1839 г. В 50-х годах Яков Иванович занимал пост советника Главного управления по гражданской части. В Омске служил в это время и один из братьев химика — Иван Иванович Менделеев [25, 3434, 20 об.]. Во второй половине 50-х годов в Главном управлении Западной Сибири служил и другой брат — Павел, женившийся на воспитаннице декабриста Басаргина (последний специально приезжал летом 1858 г. в Омск — Басаргины жили уже в то время в европейской части — в связи со свадьбой и устройством молодых) [44, 270—276 и 340—348]. В письмах М. Д. Менделеевой к дочери и зятю в Омск нередко встречается имя Наталии Дмитриевны Фопвизиной, упоминаются П. Н. Свистунов и другие декабристы [84, 67 и др.]. В Омске к Капустиным был близок А. И. Сулоцкий [9, 67, письмо без номера].

В доме у Капустиных в 50-е годы «собиралась лучшая омская молодежь», по определению Г. Н. Потанина. В этот дом Потанин ввел весной 1857 г. Чокан Валиханов, когда стремился просветить своего друга, только что вернувшегося после нескольких лет службы в степи. Там встречался Потанин с С. Ф. Дуровым, оказавшим существенное влияние на формирование взглядов будущего областника [12, 259—262].

Потанин передает в своих воспоминаниях характеристику Екатерины Ивановны Капустиной, услышанную им от Дурова: «Пламенная речь Дурова перешла потом на другую женщину. К. И. К-па была мать большого семейства и жила с своим мужем в Омске. Это было чисто сибирское семейство; тем драгоценнее был этот факт. Дуров несколько раз называл ее святою женщиной; в ее гостиной он находил радушный прием; он ценил это, потому что во всех других омских домах его чурались, как опасного человека. Может быть потому он и к моему рассказу так горячо отнесся, что нашел некоторое сходство в моих отношениях к моей благодетельнице со своими к К. И. К-ой. В одном случае женской рукой обласкан

осиротевший казачонок (речь шла о детстве Г. Н. Потанина.— М. Г.), в другом — изгнанник из интеллигентного общества, униженный и оскорбленный» [12, 261].

Чокан Валиханов ввел в дом Капустиных Достоевского. Это произошло, когда Федор Михайлович летом 1859 г. заехал на несколько дней в Омск, покидая Сибирь. До этого обе стороны были уже достаточно наслышаны друг о друге. Екатерина Ивановна потом написала Достоевскому, что она «гораздо больше знала его, чем видела» [55, 29735, 1 об.]. Непосредственное знакомство произвело приятное впечатление на Федора Михайловича; он написал об этом А. И. Гейбовичу из Твери: «Познакомился через него (Валиханова.— М. Г.) с хорошим семейством, с Капустиными (не знаете ли?), они теперь в Томске, люди простодушные и благородные, с хорошим сердцем. На случай, если придется быть в Томске (<...> непременно познакомьтесь и обо мне им напомните. Мы познакомились хорошо...» [1, 1, 269].

Из Петербурга Достоевский послал через Чокана Валиханова в подарок Капустиной свои сочинения с дарственной надписью. Она отвечала ему с большим опозданием (по ее собственному признанию), 4 января 1862 г. из Томска; благодарила за книги, рассказывала о своих дочерях. Екатерина Ивановна к этому времени овдовела [55, 29735, 1—2]. В Томске она продолжала следить за столичной литературой, и А. И. Сулоцкий в письме к И. С. Аксакову заметил, что номера газеты «День», в которых шла его статья, ему были высланы из Томска его доброй знакомой Екатериной Ивановной Капустиной [17, 590, 2].

Сын Я. И. Капустина (пасынок Екатерины Ивановны) — Семен Яковлевич — был связан с Чоканом Валихановым дружескими отношениями [136, 43]. С. Я. Капустин — автор многих трудов по истории и экономике России. Он проделал большую работу по сбору материалов об «экономическом быте» сибирских крестьян. Обследованию организовал по своей программе Западно-Сибирский отдел Географического общества. С. Я. Капустин обобщил все эти материалы в исследовании «Очерки порядков поземельной общины в Тобольской губернии», отмеченном верой в большие возможности крестьянской общины [137, 59—113]. Достоевский после ссылки интересовался исследованиями С. Я. Капустина — книгу этого автора «Формы землевладения у русского народа в зави-

симости от природы, климата и этнографических особенностей» (Спб., 1877) находим в библиотеке писателя [23, 260]. Несомненно, темы, созвучные будущему почвенничеству Достоевского, звучали в доме Капустиных.

Особенно тесные дружеские отношения связывали Чокана Валиханова с зятем Я. И. Капустина — Карлом Казимировичем Гутковским, образованным офицером-востоковедом. В конце 50-х годов Валиханов с Гутковским вместе участвовали в экспедициях [136, 45]. Сохранилась переписка Чокана Чингисовича с Гутковским конца 50-х — начала 60-х годов, свидетельствующая о сочетании в их отношениях теплых личных чувств с общением по деловым и научным вопросам [138, 519—531]. В одном из писем (11 мая, по-видимому, 1864 г.) Валиханов советовал едущему в Петербург Гутковскому познакомиться с Достоевским. В этом письме сделана приписка к Федору Михайловичу, в которой Чокан обещает, что подробно расскажет о его делах Гутковский [138, 526].

Дочь Капустиных — Надежда Яковлевна (в замужестве — Губкина) — стала писательницей (псевдоним ее — В. Семенова). В конце 70-х годов она обращалась к Достоевскому за помощью в литературных делах, ссылаясь на его знакомство с родителями. (Сибирские нити тянулись в последующую жизнь Достоевского самыми разными путями.) Федор Михайлович содействовал изданию первого романа Капустиной — «К росту» — в «Русской речи» [139, 17; 140, 455]. Надежда Яковлевна сохраняла позднее отношения с вдовой Достоевского. В мае 1887 г. она писала Анне Григорьевне [39, 30101, 1—2 об.].

Когда Достоевский познакомился в Омске с Екатериной Ивановной Капустиной, ей исполнился 41 год. Мать нескольких детей, обремененная заботами, она, вероятно, произвела впечатление уставшей женщины. Вскоре Федор Михайлович узнал, что она овдовела и осталась в Томске одна с детьми. По-видимому, облик Капустиной присутствовал в ассоциациях писателя, когда он писал Мармеладову в «Преступлении и наказании» и назвал ее Катериной Ивановной. (Соответственно, город «Т» в «Преступлении и наказании» [14, 6, 298] — это Томск, а не Тобольск, как полагают некоторые исследователи [141, 51]. Во всяком случае допущение этого прообраза ближе к реальности, чем совершенно неоправданное, на наш взгляд, сближение Катерины Ивановны Мармеладовой с первой женой Достоевского. Указание на

М. Д. Исаеву как на прототип Мармеладовой было сделано впервые А. Г. Достоевской и диктовалось скорее ее ревнивым отношением к прошлому Федора Михайловича, чем литературным чутьем, проявленным ею в других случаях. О том, что отношение к памяти Марии Дмитриевны не было объективным, свидетельствует дневник А. Г. Достоевской [21, 197—261]. Когда Мария Дмитриевна Исаева «осталась <...> после него<...> в уезде далеком и зверском», она была молодой и привлекательной вдовой, которую страстно любил Достоевский, и трудно представить, чтобы женщина, восторженным отношением к которой переполнены семипалатинские письма писателя, ассоциировалась для него с Мармеладовой (даже и после охлаждения к первой жене и ее смерти). Мария Дмитриевна послужила прототипом совсем иных образов Достоевского. Но об этом особый разговор, связанный с семипалатинским периодом.

С семьей Капустиных и с Чоканом Валихановым в Омске был близко знаком С. Ф. Дуров. Отношения Достоевского с этим человеком не принадлежат к числу светлых впечатлений его сибирской жизни, но наш рассказ об омских встречах был бы неполным без этих страниц.

Сергей Федорович Дуров по первому впечатлению располагал к себе новых знакомых, а для многих это обаяние сохранялось надолго. М. Д. Францева восторженно нарисовала его портрет, рассказывая о проходах двух петрашевцев в Тобольске в январе 1850 г. Заметив, что «первый (Достоевский.— М. Г.) был худенький, небольшого роста, не очень красивый собой молодой человек», она второго, Дурова, увидела «с правильными чертами лица, с большими черными задумчивыми глазами, черными волосами и бородой, покрытой от мороза снегом» [3, 6, 628]. Весной 1857 г. Валиханов говорил Г. Н. Потанину о Дурове, предваряя их знакомство, «что это человек с таким многосторонним образованием и с такой изящной душой», какого Потанин «еще не видывал». И хотя внешность Дурова представилась казачьему офицеру уже иною («к нам вошел человек среднего роста с сутулой спиной, с черными волосами и черными глазами; глаза болезненно блестели; иногда от него доносилось затхлое дыхание, как от чахоточного» [12, 260]), Потанин был зачарован «пламенными речами» петрашевца. Вспоминая о встрече с Дуровым, Потанин не соглашается с

тем образом, который был выведен А. И. Пальмом в его романе «Алексей Слободин» в лице Рудковского, и утверждает, что для него Сергей Федорович навсегда остался в ореоле апостола. Но само потанинское описание встречи с Дуровым рождает впечатление человека несколько рисуемого и краснобайствующего. («Мне запомнилась одна манера из его речи. Когда он задумывался, как бы построить фразу, то, чтобы выиграть время, он повторял по несколько раз первое слово фразы...» [12, 261—264].

Вскоре после помещения двух петрашевцев в Омском остроге, 14 марта 1850 г., Дуров написал стихотворение, которое было переслано через И. В. Ждан-Пушкина в Тобольск Фонвизиной [3, 6, 630—631]. (О получении этого стихотворения спрашивал Наталию Дмитриевну Сулоцкий в мае 1850 г. [9, 67, 6, 2].) Стихотворение было написано как бы в развитие бесед Дурова и Достоевского с Наталией Дмитриевной в тобольской пересыльной тюрьме и соответствовало духу кружка Фонвизиной. А. И. Сулоцкий считал, что стихи эти должны быть для Наталии Дмитриевны «отрадны», а Францева назвала их в мемуарах прекрасными. В то же время беседа Дурова с Потаниным обнаруживает совершенно иные настроения «апостола прогресса». Возможно, Сергей Федорович обладал свойством увлекаться в данной ситуации именно тем набором идей, который был более созвучен собеседнику.

Не менеестораживает и тот поиск покровительства, особенно у женщин, который проявляет С. Ф. Дуров в сибирских встречах: слезы и жалобы при свидании с Фонвизиной в тобольской тюрьме, согласие считаться ее племянником для больших возможностей опеки — все это перекликается с тем же стилем во взаимоотношениях с Е. И. Капустиной, как они выступают из воспоминаний Потанина. Дуров, действительно, нуждался в поддержке и, видимо, был искренен в проявлениях своих чувств, но вся эта аффектация, мелодраматичность и слабость его не могли не раздражать Федора Михайловича при длительном общении. Тем более, что отношение самого Дурова к Достоевскому оставляло желать лучшего. П. К. Мартынов писал, что Достоевский и Дуров «ненавидели друг друга», — это было преувеличение, как уже отмечалось комментаторами [22, 414], или, скорее, упрощение характера их отношений. (Заметим, что и по вне-

чатлениям «морячков» Дуров «вызывал к себе всеобщее сочувствие» [24, 268].)

Чокану Валиханову Федор Михайлович написал о Дурове так: «Поклонитесь от меня Д-ву и пожелайте ему от меня всего лучшего. Уверьте его, что я люблю его и искренно предан ему» [1, 1, 202]. Это было написано в конце 1856 г., когда прошло почти три года после выхода их из каторги, спялось раздражение, рождавшееся специфическими условиями замкнутого мира острога, и разлука сгладила острые углы. Кроме того, Федор Михайлович прекрасно знал, как восторженно отнесется его «Валихан» к Дурову, и не хотел омрачать эти отношения.

В письмах к другим своим корреспондентам (после каторги) Достоевский спокойно упоминает Дурова, сообщая связанные с ним события. Брату пишет о получении Дуровым писем в остроге (в подтверждение того, что это разрешалось), о совместной поездке под стражей в Сибирь, о нападках на них обоих Кривцова. Е. И. Якушкину и А. Е. Врангелю — об освобождении Дурова по здоровью от военной службы и устройстве на штатскую. Об этом же — П. Е. Аппенковой, сопроводив замечанием: «Мы с ним не переписываемся, хотя, конечно, друг об друге хорошо помним» [1, 1, 132—135 и 149—150 и др.].

Но отсутствие переписки в условиях ссылки само по себе говорит о многом. Достоевский и Дуров жили в соседних городах, связанных административно, и их общие знакомые постоянно ездили между Омском и Семипалатинском — возможности для внецензурной переписки были большие. Во всяком случае в течение двух лет, которые Сергей Федорович провел в Омске: сразу после каторги он был отправлен в третий Сибирский линейный батальон, числившийся в Петропавловске, но в ту его роту, которая квартировала в Кокчетаве (степной воздух и водолечение доктора И. Ф. Зюкова спасли его, — выйдя из острога совершенно больным, Дуров в степи вполне окреп [24, 281]*; весной 1855 г. ему разрешили перейти на гражданскую службу в Омск [1, 1, 149—150], а в

* С Дуровым вместе служил в этой роте Павел Брылягин — именно тот из гардемаринов, на дневнике которого основаны сведения Мартыянова. Они и жили там вместе. Отсюда, видимо, и соответствующая окраска в характеристиках Мартыяновым Достоевского и Дурова. Следовательно, и упоминание о взаимной их ненависти достовернее может быть применено для определения отношения Дурова к Достоевскому.

1857 г. Дуров получил возможность оставить Сибирь [142].

Наталия Дмитриевна и И. И. Пущин (овдовев, Фонвизина вышла замуж за Пущина) делали многое, чтобы помочь Дурову устроиться на службу. В 1858 г. он жил у них в Марьино. В письмах Пущина к жене во время ее отъездов постоянно мелькает озабоченность делами Дурова [44, 340—346]. В августе 1858 г. Иван Иванович писал Евгению Якушкину: «Наконец, сегодня, т. е. 21 августа, явился Пальм и завтра утром увозит Дурова, который непременно сам заедет к вам» [44, 350]. Пальм увозит Дурова — характерная для Сергея Федоровича ситуация. После этого он долго жил в Одессе у петрашевца А. И. Пальма. В июне 1862 г. Дуров просил Фонвизину (в связи с отъездом Пальма из Одессы) приютить его в «костромских лесах» Наталии Дмитриевны. Он отмечал, что года три назад, а также в предыдущем письме уже обращался с такой просьбой, но не имеет сейчас от нее ответа. «Если в Кострому нельзя, не позволите ли вы мне на зиму поселиться в какой-нибудь маленькой каморе вашего Марьино». Сергей Федорович просил срочно ответить телеграммой — да или нет [59, 86, 5, 12—12 об.]. На такую настойчивую просьбу Фонвизина не могла ответить отказом — Дуров поселился в Марьино. Эта ситуация, о которой, несомненно, был осведомлен Достоевский и послужила основанием к тому, что в его записных книжках фамилия Дуров стала появляться в связи с понятиями «леность» [14, 11, 119] и «приживальщик».

В 1864 г. Достоевский опубликовал в своем журнале «Эпоха» стихотворение Дурова [123, 254]. Во внешних поступках он старался, как и в Семипалатинске, сохранить объективность в отношении товарища по каторге. Но его глубоко возмущали образ жизни и стиль Сергея Федоровича. В заметках к повести о воспитаннице, датированных началом 1869 г., Федор Михайлович записал: «(NB, NB. Отец у ней изящный человек, приживальщик за границей. Дуров.)». И в другом месте: «...(или эстетик Дуров, или артиллерийский полковник, или полная гадость с эстетиком)» [14, 9, 115—116].

Остро критическое отношение к типу эстетствующего либерала, злоупотребляющего опекой людей, которые ценят некие прошлые его заслуги, беспомощного в повседневной жизни и любующегося собственным красноречием, вылилось потом у Достоевского в «Бесах» в образе старшего Верховенского. С. Ф. Дурова уже называли в

литературе одним из прообразов Степана Трофимовича Верховенского [14, 12, 218 и 225]. Думается, что Дуров «присутствовал» при создании этого типа в гораздо большей степени, чем это обычно учитывается. Грановский, именем которого писатель называет своего героя в черновиках, был для Достоевского в значительной мере абстракцией, воплощением определенных общественных позиций западника 40-х годов. Дуров же стоял перед его глазами во плоти, с его красивой внешностью и красивыми речами, пылкостью и рыданиями, неумением найти себе реальное дело в России после ссылки («Воплощенной укоризною... ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист»).

* * *

*

«Брат, на свете очень много благородных людей», — написал Достоевский Михаилу Михайловичу из Омска 22 февраля 1854 г., через неделю после освобождения из острога, в первом бесцензурном письме, рассказывающем о тяготах каторги. Речь шла о лицах вне острога, чью теплую помощь и внимательно-благожелательное присутствие он ощущал в течение четырех омских лет. Люди, подарившие великому писателю такое убеждение — в обстановке тяжелых испытаний, заслуживают благодарной памяти потомков. «Если бы не нашел здесь их, — утверждал Федор Михайлович, — то бы погиб совершенно» [1, 1, 137].

Многообразны косвенные и прямые контакты Достоевского за стенами тюрьмы, многие из которых продолжались потом в Семипалатинске и после возвращения из ссылки. Иные из них отразились лишь вскользь и намеками в переписке и мемуарах. Обращение к документам о людях сибирского окружения писателя открывает новые жизненные источники его творчества. Скупые упоминания, брошенные подчас мимоходом, обрастают для нас плоть и кровью реальных людей, нередко незаурядных, общение с которыми оставило след в жизненном опыте гения.

Задачи литературоведа-биографа и историка в этом случае совпадают: и тот, и другой познают духовный климат — социально-психологическую и идеологическую обстановку, выявляя личные связи, исследуя кружки, непосредственные и опосредованные влияния. Крупная фигура писателя как бы аккумулировала внимание и мысли современников (иногда и не осознававших еще значение этой личности), давала основание в дальнейшем для целе-

направленного сохранения части материалов. Данные этих источников мы можем сегодня сопоставить с разрозненными сведениями, разбросанными по многим архивохранилищам, соединяемыми буквально по крупице.

Велика роль сибирского периода в формировании личности Ф. М. Достоевского, накоплении им жизненного и идейного творческого материала, зарождении замыслов будущих творений. Истоки ряда образов, получивших мировую известность, намечались не только под влиянием книжного материала, прочувствованного на основе собственных страданий, идей, исходявших из тобольско-ялutorовского кружка декабристов, но и под впечатлением живых прототипов «вполне прекрасных» людей, в том ореоле их, в каком они виделись писателю в этот период. Дальнейшее исследование мало изученной части биографии Достоевского в тесной связи с окружением, с особенностями обстановки, с характеристиками лиц, чье поведение и убеждения могли оставить след в творческом сознании писателя, принесет нам новые находки.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- | | |
|--------|---|
| АГО | — Архив Географического общества |
| ГАОО | — Государственный архив Омской области |
| ГАТО | — Государственный архив Томской области |
| МИ | — Достоевский: Материалы и исследования |
| РОГБЛ | — Рукописный отдел Государственной библиотеки им. Ленина |
| РОИРЛИ | — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР |
| РС | — Русская старина |
| ТГВ | — Тобольские губернские ведомости |
| ФГАТОТ | — Филиал Государственного архива Тюменской области в Тобольске |
| ЦГАЛИ | — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР |
| ЦГАОР | — Центральный Государственный архив Октябрьской революции |
| ЦГИА | — Центральный государственный исторический архив СССР |
| ЦГВИА | — Центральный государственный военно-исторический архив |

ПРИМЕЧАНИЯ *

- ¹ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I.— М.— Л., 1928; т. II.— М.— Л., 1930; т. III.— М.— Л., 1934; т. IV.— М.— Л., 1959.
- ² ГАОО, ф. 19, Сибирский кадетский корпус, оп. 1.
- ³ Францева М. Д. Воспоминания.— Исторический вестник, 1888, № 5—7.
- ⁴ Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов.— М., 1976.
- ⁵ Записки, статьи, письма декабриста Н. Д. Якушкина.— М., 1951.
- ⁶ РОИРЛИ, ф. 93, П. Я. Дашков, оп. 6.
- ⁷ Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 1. Дневники и письма.— Иркутск, 1979.
- ⁸ ЦГАЛИ, ф. 765, М. С. Знаменский, оп. 1.
- ⁹ РОГБЛ, ф. 319, Фонвизины, оп. 1, папка. 3.
- ¹⁰ Потанин Г. Н. Биографические сведения о Чокапе Валихалове.— Зап. Рус. географ. о-ва по отд. этнографии, Спб., 1904, т. XXIX.
- ¹¹ ГАОО, ф. 366, Г. Е. Катанаев, оп. 1, д. 358.
- ¹² Потанин Г. Н. Встреча с С. Ф. Дуровым.— В кн.: На славном посту. Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. Спб., 1900.
- ¹³ Житомирская С. В. Встречи декабристов с петрашевцами.— В кн.: Литературное наследство; т. 60, ч. 2, кн. 1. М., 1956.
- ¹⁴ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах.— Л., 1972—1984.
- ¹⁵ ФГАТОТ, ф. 144, Александр Сулоцкий, оп. 1.
- ¹⁶ ГАОО, ф. 40, Омский Воскресенский крепостной собор, оп. 1.
- ¹⁷ РОИРЛИ, ф. 3, Аксаковы, оп. 4.

* Две цифры, указанные в скобках в тексте, означают: порядковый номер в списке; страницу издания либо лист архивного дела (в последнем случае «об.» означает оборот листа). Три цифры означают: порядковый номер; номер тома, выпуска или архивного дела; страницу издания или лист архивного дела. Четыре цифры означают: порядковый номер; номер архивного дела; номер письма (когда дело не имеет сплошной нумерации); лист письма. Указание страниц издания или листов архивного дела может быть выражено двумя цифрами, разделенными тире или союзом «и».

В случае необходимости сослаться сразу на два или несколько изданий или архивных дел в скобках указываются два или несколько наборов цифр, разделенных точкой с запятой.

- ¹⁸ **Максимовский М.** Исторический очерк развития Главного инженерного училища. 1819—1869.— Сиб., 1869, Приложение.
- ¹⁹ **Путищев М.** Воспоминания о А. И. Сулоцком.— Душенинское чтение, 1885, № 5.
- ²⁰ **Конечный А. М.** Достоевский в 1840-е годы.— В кн.: Достоевский и его время.— Л., 1971.
- ²¹ **Литературное наследство.** Т. 86.— М., 1973.
- ²² **Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников.** Т. 1.— М., 1964.
- ²³ **Десяткина Л. П., Фридлиндер Г. М.** Библиотека Достоевского. (Новые материалы).— В кн.: МИ, вып. 4. Л., 1980.
- ²⁴ **Мартьянов П. К.** Дела и люди века. Орывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Т. III.— Сиб., 1896.
- ²⁵ **ГАОО, ф. 16,** Омская консистория, оп. 2.
- ²⁶ **РОИРЛИ, ф. 265, РС,** оп. 1.
- ²⁷ **ГАОО, ф. 3,** Главное управление Западной Сибири, оп. 2.
- ²⁸ Там же, оп. 3.
- ²⁹ **Врангель А. Е.** Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856.— Спб., 1912.
- ³⁰ **ЦГВИА, ф. 181, П. К. Мартьянов,** оп. 1.
- ³¹ **ГАОО, ф. 9,** Омское общее окружное управление, оп. 1.
- ³² **Достоевская А. Г.** Воспоминания.— М.— Л., 1925.
- ³³ **Громыко М. М.** «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского как источник по истории сибирской каторги 50-х годов XIX в.— В кн.: Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX в.). Новосибирск, 1975.
- ³⁴ **Палащенко А. Ф.** По местам Ф. М. Достоевского в Омске.— Омск, 1965.
- ³⁵ **Вяткин Г.** Достоевский в омской каторге. По поводу 75-летия ссылки Ф. М. Достоевского в Сибирь.— Сибирские огни, 1925, № 1.
- ³⁶ **РОГБЛ, ф. 243, И. И. Пуцин,** оп. 1, папка 1.
- ³⁷ Там же, ф. 319, папка 2.
- ³⁸ **Валиханов Ч. Ч.** Статьи. Переписка.— Алма-Ата, 1947.
- ³⁹ **РОИРЛИ, ф. 56,** Достоевские, оп. 1.
- ⁴⁰ **Руммель В. В., Голубцов В. В.** Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. I—II.— Спб., 1887.
- ⁴¹ **Чешихин-Ветринский В. Е.** Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях современников и его письма. Ч. 1.— М., 1923.
- ⁴² **МИ,** вып. 1.— Л., 1974; вып. 2.— Л., 1976.
- ⁴³ **РОИРЛИ, ф. 6, И. А. Анненков,** оп. 1.
- ⁴⁴ **Пуцин И. И.** Записки о Пушкине. Письма.— М., 1956.
- ⁴⁵ **Ольга Ивановна Иванова** (Из воспоминаний дочери).— В кн.: Воспоминания Полины Анненковой с приложением воспоминаний ее дочери О. И. Ивашовой и материалов из архива Анненковых.— М., 1932.
- ⁴⁶ **Буланова О. К.** Роман декабриста. Декабрист В. П. Ивашев и его семья.— М., 1925.
- ⁴⁷ **Наталья Дмитриевна Фонвизина** (Из бумаг протоиерея Знаменского). Публикация М. С. Знаменского.— В кн.: Литературный сборник. Спб., 1885.
- ⁴⁸ **РОГБЛ, ф. 513, Свистунов П. Н.,** картон 1.
- ⁴⁹ **РОИРЛИ, р. III,** оп. 2.
- ⁵⁰ **Неизданный Достоевский.** Литературное наследство, т. 83.— М., 1971.

- ⁵¹ РОИРЛИ, ф. 265, РС, оп. 2.
- ⁵² Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарий.— М.— Пг., 1923.
- ⁵³ РОГБЛ, ф. 93/П, картон 5, д. 26.
- ⁵⁴ Скандин А. В. Достоевский в Семипалатинске.— Исторический вестник, 1903, № 1.
- ⁵⁵ РОИРЛИ, ф. 100, Ф. М. Достоевский, оп. 1.
- ⁵⁶ Красный архив, 1924, т. 6.
- ⁵⁷ ЦГАОР, ф. 1706, оп. 1, д. 38.
- ⁵⁸ Роцевский П. И. Воспитанник декабристов художник М. С. Знаменский.— Тюмень, 1954.
- ⁵⁹ РОГБЛ, ф. 319, папка 1.
- ⁶⁰ Регунский В. Ф. Участие декабристов в судьбе есылыных петрашевцев.— В кн.: Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977.
- ⁶¹ РОИРЛИ, ф. 606, Е. П. Оболенский, оп. 1, д. 19.
- ⁶² Житомирская С. В. Архив Фоцвизиных.— Зап. Отдела рукописей ГБЛ.— М., 1952, вып. 14.
- ⁶³ РОИРЛИ, ф. 36, В. П. Буренин, оп. 3, д. 23.
- ⁶⁴ РОГБЛ, ф. 319, папка 5, д. 27 (1849 г.).
- ⁶⁵ РОГБЛ, ф. 319, папка 4, д. 6.
- ⁶⁶ Мироненко С. В. Записка М. А. Фонвизина «О коммунизме и социализме».— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977.
- ⁶⁷ РОГБЛ, ф. 319, оп. 1, папка 6.
- ⁶⁸ Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма.— Пг., 1922.
- ⁶⁹ Сокольский Л. А. К московскому периоду жизни М. И. Муравьева-Апостола.— В кн.: Декабристы в Москве. М., 1963.
- ⁷⁰ Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев.— М.— Л., 1958.
- ⁷¹ История Сибири, т. 2.— Л., 1968.
- ⁷² ГАТО, ф. 1170, Томская духовная консистория, оп. 4.
- ⁷³ АГО, р. 62, Томская губерния, оп. 1, д. 23.
- ⁷⁴ Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур.— Л., 1970.
- ⁷⁵ Якубович И. Д. «Братья Карамазовы» и следственное дело Д. Н. Ильинского.— МИ, вып. 2. Л., 1976.
- ⁷⁶ Дружинин Н. М. Декабрист И. Д. Якушкин и его ланкастерская школа.— Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та, 1941, т. 2, вып. 1.
- ⁷⁷ Тальская О. С. Устав союза благоденствия и деятельность декабристов в Сибири.— В кн.: Некоторые вопросы истории СССР. Барнаул, 1974.
- ⁷⁸ Роцевский П. И. Декабристы в тобольском изгнании.— Свердловск, 1975.
- ⁷⁹ Курдина Н. Н. Мемуары М. С. Знаменского.— В кн.: Сибирская археология и источниковедение. Новосибирск, 1979.
- ⁸⁰ Оболенский Е. П. Воспоминания о И. Д. Якушкине.— В кн.: Декабристы и их время. Т. 1. М., 1928.
- ⁸¹ Созонович А. П. Заметки по поводу статьи К. М. Голодникова «Государственные и политические преступники в Ялutorовске и Кургане».— В кн.: Декабристы. Материалы для характеристики. М., 1907.
- ⁸² Письмо опубликовано: Любимова-Дороватовская В. Достоевский в Сибири. Новые материалы.— Огонек, 1946, № 46—47.
- ⁸³ Знаменский М. С. Иван Дмитриевич Якушкин. По неизданным материалам.— Сибирский сборник, Спб., 1886, кн. 3.
- ⁸⁴ Капустина-Губкина П. Я. Памяти Д. И. Менделеева. Семей-

ная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева.— Спб., 1908.

⁸⁵ **Чичерин А. В.** Ранние предшественники Достоевского.— В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971.

⁸⁶ **Плетнев Р.** Сердцем мудрые. (О «старцах» у Достоевского).— В кн.: О Достоевском, вып. II. Прага, 1933.

⁸⁷ **Путинцев М.** Ст. Як. Знаменский.— Душеполезное чтение, 1888, № 1.

⁸⁸ **Сулоцкий А. И.** Биография С. Я. Знаменского.— Иркутские епархиальные ведомости, 1877, № 30, 32, 39.

⁸⁹ **Мироненко С. В.** Крестьянский вопрос в трудах декабриста М. А. Фонвизина.— Исторические записки. М., 1975, т. 96.

⁹⁰ **Нечаева В. С.** Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863.— М., 1972.

⁹¹ **Волгин И. Л.** Достоевский и царская цензура.— Русская литература, 1970, № 4.

⁹² **Библиография работ А. И. Сулоцкого.**— Тобольские епархиальные ведомости, 1884, № 11. См. также картотеку С. А. Венгерова в РОИРЛИ.

⁹³ **Сулоцкий А. И.** Авторская исповедь.— Тобольские епархиальные ведомости, 1884, № 10, 11.

⁹⁴ **Последние дни.**— Христианское чтение, ч. XXIX—XXX. Спб., 1828.

⁹⁵ **Пруцков Н. И.** Достоевский и христианский социализм.— МИ, вып. 1. Л., 1974; **Гришин Д. В.** Достоевский — человек, писатель и мифы. Достоевский и его «Дневник писателя».— Мельбурн, 1971.

⁹⁶ **Соркина Д. Л.** Об одном из источников образа Льва Николаевича Мышкина.— В кн.: Вопросы художественного метода и стиля. Томск, 1964.

⁹⁷ **Кийко Е. И.** Достоевский и Репап.— МИ, вып. 4.

⁹⁸ **Громыко М. М.** О круге чтения Ф. М. Достоевского в Омске. (К 160-летию со дня рождения и 100-летию кончины писателя).— В кн.: Культурная жизнь Сибири XVII—XX вв. Новосибирск, 1981.

⁹⁹ **Лихачев Д. С.** Летописное время у Достоевского.— В кн.: Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.

¹⁰⁰ **Ветловская В. Е.** Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых» (Житие Алексея человека божия и духовный стих о нем).— В кн.: Достоевский и русские писатели.

¹⁰¹ **Лотман Л. М.** Реализм русской литературы 60-х годов XIX в.— Л., 1974.

¹⁰² **Иннокентий (И. А. Борисов).** Последние дни. 2-е изд.— Одесса, 1860.

¹⁰³ **Якушкин Е. И.** Письмо к жене.— В кн.: Декабристы. Летопись Гос. лит. музея, кн. 3. М., 1938.

¹⁰⁴ РС, 1883, сент.

¹⁰⁵ **Архипова А. В.** Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского.— В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975.

¹⁰⁶ **Письма Е. И. Якушкина к жене из Сибири. 1885 г.**— В кн.: Декабристы на поселения. Из архива Якушкиных. Л., 1926.

¹⁰⁷ РОИРЛИ, р. 1, оп. 10.

¹⁰⁸ **Азадовский М. К.** История русской фольклористики. Т. 2.— М., 1963.

- ¹⁰⁹ Кошелев Р. Я. Русская фольклористика Сибири.— Томск, 1962.
- ¹¹⁰ Потанин Гр. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении.— В кн.: Этнографический сборник, вып. VI. Спб., 1864.
- ¹¹¹ Якушкин Е. И. Обычное право. Вып. 1. Материалы для библиографии обычного права.— Ярославль, 1875.
- ¹¹² Записки о жизни и подвигах Петра Алексеевича Мичурина, монаха Василиска и юродивого Ионы. 2-е изд.— Козельск, 1849.
- ¹¹³ Жизнь в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы.— М., 1860.
- ¹¹⁴ Альтман М. С. Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского.— В кн.: Достоевский и его время.
- ¹¹⁵ Альтман М. С. Достоевский по вехам имен.— Саратов, 1975.
- ¹¹⁶ Тобольские епархиальные ведомости, 1890, № 9-10.
- ¹¹⁷ ЦГИА, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 103, 1822 г., д. 175.
- ¹¹⁸ ГГАТОГ, ф. 156, оп. 4(19), д. 37.
- ¹¹⁹ Сибирский наблюдатель, 1902, кн. 7.
- ¹²⁰ Варлаков Г. Турянск.— ТГВ, 1859, № 21—22.
- ¹²¹ РОИРЛИ, Архив И. П. Сахарова, оп. 1.
- ¹²² Абрамов Н. (А). Туринский Николаевский девичий монастырь.— ТГВ, 1865, № 45.
- ¹²³ Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха».— М., 1975.
- ¹²⁴ Лихачев Д. С. Литература как общественное явление.— Вопросы литературы, 1974, № 10.
- ¹²⁵ Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы».— Л., 1977.
- ¹²⁶ Гроссман Л. П. Последний роман Достоевского.— В кн.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М., 1935.
- ¹²⁷ Назиров Р. Г. Герои романа «Идиот» и их прототипы.— Русская литература, 1970, № 2.
- ¹²⁸ ГАОО, ф. 67, Войсковое хозяйственное правление Сибирского казачьего войска, оп. 1, д. 638, 1852 г.
- ¹²⁹ Токарежский Ш. Ф. М. Достоевский в Омской каторге. (Воспоминания каторжанина)/Пер. с польского В. Б. Арендта.— Звенья, 1936, VI.
- ¹³⁰ Семсенов-Тян-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань.— М., 1946.
- ¹³¹ Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859—1875 гг.— Спб., 1912.
- ¹³² РОИРЛИ, архив А. Н. Майкова, оп. 1.
- ¹³³ Там же, ф. 462, М. А. Бекетова, оп. 1.
- ¹³⁴ Уральская железная промышленность в 1899 г.— Спб., 1900.
- ¹³⁵ Громыко М. М. Сибирские купцы Корнильевы.— Изв. Сиб. отд. АН СССР, 1972, № 6. Сер. обществ. наук, вып. 2.
- ¹³⁶ Маргулан А. Очерк жизни и деятельности Ч. Ч. Валиханова.— В кн.: Ч. Ч. Валиханов. Собрание сочинений в пяти томах, т. I. Алма-Ата, 1961.
- ¹³⁷ Литературный сборник.— Спб., 1885.
- ¹³⁸ Записки Русского географического общества по отделению этнографии, Спб., 1904, т. 29.
- ¹³⁹ Менделеева А. И. Менделеев в жизни.— М., 1928.
- ¹⁴⁰ Переписка Ф. М. Достоевского и А. Г. Достоевской.— Л., 1976.
- ¹⁴¹ Альтман М. С. Топонимика Достоевского.— МИ, вып. 2. Л., 1976.
- ¹⁴² Власова З. В. Писатель-петрашевец С. Ф. Дуров.— Вестник ЛГУ, 1959, № 8.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
Глава первая. Старые и новые связи	5
Глава вторая. Главный лекарь и гардемарини	26
Глава третья. Ошибка Ризенкампа	41
Глава четвертая. Дочь декабриста	51
Глава пятая. Наталия Дмитриевна и ее окружение	69
Глава шестая. У истоков образа	106
Глава седьмая. Евгений Якушкин	116
Глава восьмая. Зосима в Сибири	130
Глава девятая. Чокап Валиханов и дом Капустинных	145
Список сокращений	162
Примечания	163

Марина Михайловна Громыко

**СИБИРСКИЕ
ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
1850—1854 гг.**

Утверждено к печати
редколлегией научно-популярных изданий
Сибирского отделения АН СССР

Редактор издательства *Т. Б. Мелкозерова*
Художник *С. М. Кудрявцев*
Технический редактор *А. В. Сурганова*
Корректоры *С. М. Погудина, С. В. Блинова*

ИБ № 23854

Слано в набор 27.09.84. Подписано к печати 03.04.85. МН-03123. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 8,8. Усл. кр.-отт. 9,1. Уч.-изд. л. 10. Тираж 80 000 экз. Заказ № 407. Цена 65 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука», Сибирское отделение.
630099, Новосибирск, 99, Советская, 18.
4-я типография издательства «Наука».
630077, Новосибирск, 77, Станиславского, 25.



Книги можно предварительно заказать в магазинах Центральной конторы «Академкнига», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации. Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117192 Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

- 480091 **Алма-Ата**, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
- 370005 **Баку**, ул. Джапаридзе, 13 («Книга — почтой»);
- 232600 **Вильнюс**, ул. Университета, 4;
- 690088 **Владивосток**, Океанский проспект, 140;
- 320093 **Днепропетровск**, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
- 734001 **Душанбе**, проспект Ленина, 95 («Книга — почтой»);
- 375002 **Ереван**, ул. Туманяна, 31;
- 664033 **Иркутск**, ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);
- 420043 **Казань**, ул. Достоевского, 53;
- 252030 **Киев**, ул. Ленина, 42;
- 252142 **Киев**, проспект Вернадского, 79;
- 252030 **Киев**, ул. Пирогова, 2;
- 252030 **Киев**, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
- 277012 **Кишинев**, проспект Ленина, 148 («Книга — почтой»);
- 343900 **Краматорск** Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);
- 660049 **Красноярск**, проспект Мира, 84;
- 443002 **Куйбышев**, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
- 191104 **Ленинград**, Литейный проспект, 57;
- 199164 **Ленинград**, Таможенный пер., 2;
- 196034 **Ленинград**, В/О, 9 линия, 16;
- 220012 **Минск**, Ленинский проспект, 72 («Книга — почтой»);
- 103009 **Москва**, ул. Горького, 19а;
- 117312 **Москва**, ул. Вавилова, 55/7;
- 630076 **Новосибирск**, Красный проспект, 51;
- 630090 **Новосибирск**, Академгородок, Морской проспект, 22 («Книга — почтой»);
- 142284 **Протвино** Московской обл., «Академкнига»;
- 142292 **Пушино** Московской обл., МР, «В», 1;
- 620151 **Свердловск**, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
- 700029 **Ташкент**, ул. Ленина, 73;
- 700100 **Ташкент**, ул. Шота Руставели, 43;
- 700187 **Ташкент**, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
- 634050 **Томск**, наб. реки Ушайки, 18;
- 450059 **Уфа**, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
- 450025 **Уфа**, ул. Коммунистическая, 49;
- 720001 **Фрунзе**, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
- 310078 **Харьков**, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).